

Ярослав Ташек



1

ЯРОСЛАВ
Ташек



Иван Тавек

ЯРОСЛАВ
Ташек

Собрание
сочинений
в пяти
томах

1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ● ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА ● 1966

**Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
П. Богатырева.**

**Оформление и иллюстрации
художника И. Семенова.**

Похождения
бравого
солдата
Швейка
во время
мировой
войны

ПРЕДИСЛОВИЕ

Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк».

И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде — тот самый brave солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.

Я искренне люблю brave солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии.

И этого вполне достаточно.

Автор

Часть
первая

В
тылу



ГЛАВА I

ВТОРЖЕНИЕ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА В МИРОВУЮ ВОЙНУ

— Убили, значит, Фердинанда-то нашего,— сказала Швейку его служанка.

Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.

Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.

— Какого Фердинанда, пани Мюллерова?—спросил Швейк, не переставая массировать колени.— Я знаю двух Фердинандов. Один служит у дрогоиста* Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для рращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.

— Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда*. Того, что жил в Конопиште*, того толстого, набожного...

— Иисус Мария!— вскричал Швейк.— Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?

— В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле...

— Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверное, и не подумал, что автомобильные поездки

могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево это в Боснии, пани Мюллерова... А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину... * Вот какие дела, пани Мюллерова. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился?

— Тут же помер, сударь. Известно — с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа.

— Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни — не выстрелишь. Таких систем — пропасть. Но для эрцгерцога, наверно, купили что-нибудь этакое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога — штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский.

— Там, говорят, народу много было, сударь.

— Разумеется, пани Мюллерова, — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. — Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо — два лучше. Один присоветует одно, другой — другое, «и путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне. Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету * напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям! С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди *. У него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время — эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию,

а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому — две. Потом его увезли в корзине очухаться... * Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он — все свое: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и — бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.

— А что стало с тем солдатом? — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.

— Повесился на помочах, — ответил Швейк, чистя свой котелок. — Да помочи-то были не его, он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать — не ждуть же, пока тебя расстреляют? Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Порядочный, должно быть, человек, раз меня приветствует». А тот возьми да и хлопни его. Одну всадил или несколько?

— Газеты пишут, что эрцгерцог был, как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны.

— Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? * Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет... Ну, я пошел в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне

за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы.

В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор.

Паливец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо *.

— Хорошее лето стоит,— завязывал Бретшнейдер серьезный разговор.

— А всему этому цена — дерьмо! — ответил Паливец, убирая посуду в шкаф.

— Ну и наделали нам в Сараеве делов! — со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.

— В каком «Сараеве»? — спросил Паливец. — В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело — Нусле!

— В боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?

— Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами! — вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. — Нынче вмешиваться в такие дела — того и гляди сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог — нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацом * пахнет.

Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.

— А когда-то здесь висел портрет государя императора, — помолчав, опять заговорил он. — Как раз на том месте, где теперь зеркало.

— Вы справедливо изволили заметить, — ответил пан Паливец, — висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?

— В этом Сараеве скверно, видно, было? Как вы полагаете, уважаемый?..

— Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали.

— В каком полку вы служили, уважаемый?

— Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью,— ответил пан Паливец.— На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.

Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом:

— В Вене сегодня тоже траур.

Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:

— В Конопиште вывешено десять черных флагов.

— Нет, их должно быть двенадцать,—сказал Швейк, отпив из кружки.

— Почему вы думаете, что двенадцать? — спросил Бретшнейдер.

— Для ровного счета — дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит,—ответил Швейк.

Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:

— Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов — мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь, лежал связанный «козлом» *. На военной службе должна быть дисциплина — без нее никто бы и пальцем для дела не пошевелил. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, ду-

раки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.

— Все это сербы наделали, в Сараеве-то, — старался направить разговор Бретшнейдер.

— Ошибаетесь, — ответил Швейк. — Это все турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.

И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах: турки проиграли в тысяча девятьсот двенадцатом году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел — застрелили Фердинанда.

— Ты турок любишь? — обратился Швейк к трактирщику Паливцу. — Этих нехристей? Ведь нет?

— Посетитель как посетитель, — сказал Паливец, — хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбредет — вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех*, — мне все равно.

— Хорошо, уважаемый, — промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. — Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.

Вместо трактирщика ответил Швейк:

— Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще.

— Что вы хотите этим сказать? — оживился Бретшнейдер.

— Что хочу сказать? — с охотой ответил Швейк. — Вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватил кондрашка, еще когда он в Конопиште гонялся за старухами, которые у него в имени собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только — дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! Несколько лет назад у нас

в Будейовицах на базаре случилась небольшая ссора: проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржети-слава Людвика. А у него был сын Богуслав,— так тот, бывало, куда ни придет продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик!» В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву, потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать... И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора, после того как тот ему впрыснул чего-то.

— Странное, однако, сравнение,— многозначительно произнес Бретшнейдер.— Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.

— А какое тут сравнение,— возразил Швейк.— Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Вон пан Паливец меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, именно в Конопиште без хозяйина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет... Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с этаким безобразной фамилией — Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шалловица из Мыловар, ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа с Ражицкой запруды. И — что бы вы думали? — его тоже утопили во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он укусил священника за нос и зая-

вил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя императора.

— А вы не знаете, что он про него сказал? — голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.

— Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие спьяна делаются.

— А какие оскорбления государю императору делаются спьяна? — спросил Бретшнейдер.

— Прошу вас, господа, перемените темы, — вмешался трактирщик Паливец. — Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.

— Какие оскорбления наносятся государю императору спьяна? — переспросил Швейк. — Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа * он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта *, а брата — мексиканского императора — в какой-то крепости поставили к стенке *. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови! — Швейк основательно хлебнул пива и продолжал: — Вы думаете, что государь император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!

В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно.

— Может статься,— продолжал он рисовать будущее Австрии,— что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам не скажу ничего.

Бретшнейдер встал и торжественно произнес:

— Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор.

Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему орла * и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.

Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.

Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:

— Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с роголиком. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.

Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минутой глядел на трактирщика и потом спросил:

— Вы женаты?

— Да.

— А может ваша жена вести дело вместо вас?

— Может.

— Тогда все в порядке, уважаемый,— весело сказал Бретшнейдер.— Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

— Не тревожься,— утешал Паливца Швейк.— Я арестован всего только за государственную измену.

— Но я-то за что? — заныл Паливец.— Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:

— За то, что вы сказали, будто на государя импера-

тора гадил мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.

Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой:

— Мне сойти с тротуара?

— Зачем?

— Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю.

Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил:

— Славно провели время! Вы часто бываете «У чаши»?

В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:

— Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?

Так очаровательно и мило вступил в мировую войну brave солдат Швейк. Историков интересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.

ГЛАВА II

БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил:

— Этот Фердинанд вам дорого обойдется!

Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой — мужчина средних лет.

Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ.

— Из-за Сараева.

— Из-за Фердинанда.

— Из-за убийства эрцгерцога.

— За Фердинанда.

— За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.

Шестой — он всех сторонился — заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрения: ведь он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа.

Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали.

Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках, с заплаканными глазами; он был арестован у себя на квартире, потому что за два дня до сарасвского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников «У Брейшки», а кроме того, агент Брикси видел его, пьяного, в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржегезовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету.

На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:

— У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

— Это для вас не оправдание.

Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами:

— Идея покушения проста, как колумбово яйцо.

— Как и то, что вас ждет Панкрац,— дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.

Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель «Добролюба» добродушно сказал:

— Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне»*.

Теперь он сидел повесив голову и причитал:

— В августе состоится перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.

Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что

это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:

— Семь пулек, как в Сараеве!

У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда: он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:

— Читали об этом?

— Не читал.

— Знаете про это?

— Не знаю.

— А знаете, в чем дело?

— Не знаю и знать не желаю.

— Все-таки это должно было бы вас интересовать.

— Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?

— Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?

— Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать.

На том разговор и окончился. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял:

— Я не виновен, я не виновен!

Эти слова он выкрикивал, когда вошел в ворота полицейского управления. И эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру.

Выслушав эти страшные истории заговорщиков,

Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.

— Наше дело дрянь,— начал он слова утешения.— Неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на действительной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под рождество: он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия — дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать,— не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собою разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке «мирно» и «не моргни». Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуска не дам, всех на две недели без отпуска!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцогe. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.

— Я не виновен, я не виновен! — повторял взъерошенный человек.

— Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und weiter dienen»¹, как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.

Швейк лег на койку и спокойно заснул.

Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик Паливец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:

— Я уже здесь!

Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:

— Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность— вещь хорошая.

Но Паливец заявил, что такой точности цена — дерьмо, и шепотом спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.

Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.

Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя императора.

— Замарали мне его, бестии,— закончил он описание своих злоключений,— и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! — добавил он угрожающе.

Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.

¹ Держи язык за зубами и служи (нем.).

Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись: «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:

— Добрый вечер всей честной компании!

Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников»*.

Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:

— Не прикидывайтесь идиотом.

— Ничего не поделаешь,—серьезно ответил Швейк.— Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот.

Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.

— Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.

И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда; отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.

— Что вы на это скажете? — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.

— Этого вполне достаточно,—невинно ответил Швейк.— Излишество вредит.

— Вот видите, вы же сами признаете...

— Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Когда я был на военной службе...

— Молчать! — крикнул полицейский комиссар на Швейка.— Отвечайте только, когда вас спрашивают! Понимаете?

— Как не понять, — согласился Швейк. — Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться.

— С кем состоите в сношениях?

— Со своей служанкой, ваша милость.

— А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?

— Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку» *.

— Вон! — заревел господин со зверским выражением лица.

Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:

— Спокойной ночи, ваша милость.

Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.

— Раньше, — заметил Швейк, — бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким *. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста *. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие! — похваливал Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос — по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого — туда. Тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радуешься, что ты по крайней мере здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии

скажут: «Мы посоветались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.

Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:

— Швейк, оденьтесь и идите на допрос!

— Я оденусь,—ответил Швейк.— Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И, кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.

— Вылезти и не трепаться! — последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.

Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно:

— Во всем признаетесь?

Швейк уставил свои добрые голубые глаза на умолимого человека и мягко сказал:

— Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чем не сознавайтесь»,—я буду выкручиваться до последнего издыхания.

Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.

И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:

«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.

Йозеф Швейк».

Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:

— Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?

— Утром вас отвезут в уголовный суд,— последовал ответ.

— А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?

— Вон! — раздался во второй раз рев по ту сторону стола.

Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:

— Тут все идет как по-писаному.

Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил:

— Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.

Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.

Только босниец сказал:

— Приветствую!

Укладываясь на койку, Швейк заметил:

— Глупо, что у нас нет будильника.

Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.

— Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает,— сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон * выезжал из ворот полицейского управления.

ГЛАВА III

ШВЕЙК ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ ВРАЧАМИ

Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель подследственной тюрьмы, с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в великопостную среду и в страстную пятницу.

Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того, чтобы честно умыть руки, посылали к «Тессигу»* за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.

Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.

Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не при-

нимали закон всерьез. Ибо и между плеведами всегда найдется пшеница.

К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек; рассказывают, что когда-то, допрашивая известного убийцу Валеша, он то и дело предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».

Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:

— Так вы, значит, тот самый пан Швейк?

— Я думаю, что им и должен быть,— ответил Швейк,— раз мой батюшка был Швейк и маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии.

Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя.

— Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.

— У меня всегда много кое-чего на совести,— ответил Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь.— У меня на совести, может, еще больше, чем у вас, ваша милость.

— Это видно из протокола, который вы подписали,— не менее любезным тоном продолжал судебный следователь.— А на вас в полиции не оказывали давления?

— Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и, когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы мне от этого не было. Во всем должен быть порядок.

— Пан Швейк, чувствуете вы себя вполне здоровым?

— Совершенно здоровым, пожалуй, сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь опodelь-доком.

Старик опять любезно улыбнулся.

— А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?

— Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера.

— Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война.

— Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.

— Не страдаете ли вы падучей?

— Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это было уже много лет тому назад.

На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям:

— Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора.

— Меня тоже осматривали судебные врачи, — сказал молодой человек, — когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то это пригодится на всю жизнь.

— Я этим судебным врачам нисколько не верю, — заметил господин интеллигентного вида. — Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Геве́роха *. А когда меня поймали, я симулировал паралитика в точности так, как их описывал профессор Геве́рох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.

— Я этих осмотров совершенно не боюсь, — заявил Швейк. — На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо.

— Судебные доктора — стервы! — отозвался скрыщенный человечек. — Недавно на моем лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голо-

ве сорок лет тому назад. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.

— Я думаю,— сказал Швейк,— что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи—тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич *, когда я ночью возвращался от «Банзета» *, ко мне подошел один господин и хватъ арапником по голове; я, понятно, свалился наземь, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» Эта ошибка его так разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано — ошибаться до самой смерти. Вот однажды был такой случай: один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собою домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покрывами со священными надписями, а под голову положил евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хорошая ошибка!— говорит церковный сторож.— Из-за такой ошибки нам придется снова освящать костел». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, и те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый,— дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце... Приведу вам еще один пример, как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттера, ошиблась в Кладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот привели к нему однажды до-

вольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.

Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров.

И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!»

Дело было совершенно ясно. Благодаря этому непосредственному возгласу Швейка целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Каллерсона, доктора Гевероха и англичанина Вейкинга *.

— Радий тяжелее олова?

— Я его, извиняюсь, не вешал,— со своей милой улыбкой ответил Швейк.

— Вы верите в конец света?

— Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет,— небрежно бросил Швейк.

— А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?

— Извиняюсь, не смог бы,— сказал Швейк.— Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,— продолжал он.— Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше — два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?

Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее один из них задал еще такой вопрос:

— Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?

— Этого, извините, не знаю,— послышался ответ,— но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой * на Влтаве.

— Достаточно? — лаконически спросил председатель комиссии.

Но один из членов попросил разрешения задать еще один вопрос:

— Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?

— Семьсот двадцать девять,— не моргнув глазом, ответил Швейк.

— Я думаю, вполне достаточно,— сказал председатель комиссии.— Можете отвести обвиняемого на прежнее место.

— Благодарю вас, господа,— вежливо сказал Швейк,— с меня тоже вполне достаточно.

После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу: Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим стояло:

«Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из таких слов, как «да здравствует император Франц»

Иосиф Первый», каковых вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого нижеподписавшаяся комиссия предлагает:

1. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и

2. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих».

В то время как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме:

— На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись.

— Никому я не верю,— заметил скрюченный человек, на лугу которого случайно выкопали скелет.— Кругом одно жульничество.

— Без жульничества тоже нельзя,— возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац.— Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.

ГЛАВА IV

ШВЕЙКА ВЫГОНЯЮТ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА

Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой.

— По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью мать, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава*. (Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал. Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смиренной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света.

Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконошах *, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то стали там рассказывать сказки да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплетное шило», — иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там, как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, бляеть, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.

И правда, даже самый прием, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего Швейка раздели донага, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив под мышки, причем один из санитаров развлекал его еврейским анекдотом. В купальной его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это проделали с ним трижды, потом осведомились, как ему нравится. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы еще острижете мне

ногти и волосы, то я буду совершенно счастлив», — прибавил он, мило улыбаясь.

Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть.

Швейк еще и теперь с любовью вспоминает это время:

— Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. В тот момент я испытал неземное блаженство.

На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клецками гусей.

Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.

Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упованием. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: «Один из них при этом держал меня на руках», — вспоминал Швейк.

Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось:

— Tauglich! ¹

— Что вы говорите? — спросил один из докторов. — Сделайте пять шагов вперед и пять назад.

Швейк сделал десять.

— Ведь я же вам сказал, — заметил доктор, — сделать пять.

— Мне лишней пары шагов не жалко.

После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул; один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам

¹ Годен! (нем.)

принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый поднял Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.

— Послушайте, вы умеете петь?— спросил у Швейка один из докторов.— Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню?

— Сделайте одолжение,— ответил Швейк.— Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься.

И Швейк хватил:

Что, монашек молодой,
Головушку клонишь,
Две горячие слезы
Ты на землю ронишь?

— Дальше не знаю,— прервал Швейк.— Если желаете, спою вам:

Ох, болит мое сердечко,
Ох, тоска запала в грудь.
Выйду, сяду на крылечко
На дороженьку взглянуть.
Где же ты, милая зазноба...

— Дальше тоже не знаю,— вздохнул Швейк.— Знаю еще первую строфу из «Где родина моя» * и потом «...Виндишгрец * и прочие генералы, утром спозаранку войну начинали», да еще пару простонародных песенок вроде «Храни нам, боже, государя» *, «Шли мы прямо в Яромерь» * и «Достойно есть, яко воистину...».

Оба доктора переглянулись, и один из них спросил:

— Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?

— На военной службе,— торжественно и гордо ответил Швейк.— Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

— Сдается мне, что вы симулянт! — обрушился на Швейка другой доктор.

— Совсем не симулянт, господа! — защищался Швейк.— Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии Девяносто первого полка в Чешских Будейовицах или в Управлении запасных в Карлине.

Старший врач безнадежно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам:

— Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение в первый коридор. Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтоб долго не канителились, что-бы он у нас долго на шее не сидел.

Врачи еще раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям, учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:

— Я ведь не одет, совсем нагишом, в чем мать родила, вот я и не хочу показывать панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал.

С того момента как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нем заботиться, велели одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение: «Слабоумный симулянт».

Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала.

Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда.

Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвел Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.

ГЛАВА V

ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ КОМИССАРИАТЕ НА САЛЬМОВОЙ УЛИЦЕ

За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили: «Киньте этого негодяя христианина львам!» — инспектор Браун сказал:

— За решетку его!

Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:

— Я готов, господа. Как я понимаю, «за решетку» означает — в одиночку, а это не так уж плохо.

— Не очень-то здесь распространяйся, — сказал полицейский, на что Швейк ответил:

— Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете.

В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.

— Мое почтение, сударь, — сказал Швейк, присаживаясь на нары. — Не знаете ли, который теперь час?

— Мне теперь не до часов, — ответил задумчивый господин.

— Здесь недурно,— попытался завязать разговор Швейк.— Нары из струганого дерева.

Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти.

А Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил: «Вам это даром не пройдет!» Другой арестованный написал: «Ну вас к черту, петухи!»*. Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц». Была и надпись, потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, господи!»

А под этим: «Поцелуйте меня в ж...»

Буква «ж» все же была перечеркнута, и сбоку приписано большими буквами: «ФАЛДУ». Рядом какая-то поэтическая душа накарябала стихи:

У ручья печальный я сижу,
Солнышко за горы уж садится,
На пригорок солнечный гляжу,
Там моя любезная томится...

Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:

— Выпустите меня!.. Нет, они меня не выпустят,— через минуту сказал он как бы про себя,— не выпустят, нет, нет. Я здесь с шести часов утра.

На него вдруг ни с того ни с сего напала болтливость. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку:

— Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

— С большим удовольствием могу вам услужить,— ответил Швейк, снимая свой ремень.— Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне... Одно только досадно,— заметил он, оглядев камеру,— тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись

на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы нравятся. Так извольте...

Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками слезы и выкрикивая:

— У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена! Что скажут на службе! У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни!

И так далее, до бесконечности.

Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос:

— Чего надо?

— Выпустите меня! — проговорил он таким тоном, словно это были его предсмертные слова.

— Куда? — раздался вопрос с другой стороны двери.

— На службу, — ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.

Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора... И шаги опять стихли.

— Видно, этот господин здорово ненавидит вас, коли так насмехается, — сказал Швейк, в то время как его безутешный сосед опять уселся рядом. — Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда он взбешен, то пощады не жди. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?

— Трудно сказать, — вздохнул тот. — Дело в том, что я сам не помню, что такое я натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, закурить сигару. А началось все так хорошо... Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый...

— Не могли ли я помочь вам считать? — вызвался Швейк. — Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за

одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.

— Словом,— продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так великолепно справлял свои именины,— когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его загодя привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом — не помню... Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже двенадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал... по крайней мере не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил... Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь!

— А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы ее раскололи с одного маху? — вместо ответа поинтересовался Швейк.

— Сразу,— ответил интеллигентный господин.

— Тогда вы пропали,— задумчиво произнес Швейк.— Вам докажут, что вы готовились к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомо-го господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом? — И, не ожидая ответа, пояснил: — Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление.

— На суде?.. — малодушно пролепетал почтенный отец семейства и, повесив голову, впал в то неприятное

состояние духа, когда человека пожирают упреки совести¹.

— А дома знают, что вы арестованы, или они узнают только из газет? — спросил Швейк.

— Вы думаете, что это появится... в газетах? — наивно спросила жертва именин своего начальника.

— Вернее верного, — последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. — Читателям газет это очень понравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактуре «У чаши» один посетитель выкинул такой номер: разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже читали в газетах об этом. Или, например, в «Бендловке» * съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он дал мне сдачи. Для того чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и это сейчас же появилось в «Вечерке»... Или еще случай: в кафе «У мертвеца» один советник разбил два блюда. Так, думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты... Вам остается одно: послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас-де не касается и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок... Вам не холодно? — участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин дрожит как в лихорадке. — В этом году конец лета что-то холодноват.

— Погибший я человек! — зарыдал сосед Швейка. — Не видать мне повышения...

— Что и говорить, — участливо подхватил Швейк. — Если вас после отсидки обратно на службу не примут, — не знаю, скоро ли вы найдете другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельство о благонаравном по-

¹ Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упреки совести». Я не считаю это выражение вполне точным. Ведь и тигр человека пожирает, а не грызет. (Прим. автора.)

ведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдется... А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придется побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?

В ответ послышались рыдания:

— Бедные мои детки! Бедная моя жена!

Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях:

— У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьет только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым, право же, подобный казус случился в первый раз в жизни.

— Он скаут? — воскликнул Швейк. — Люблю слушать про скаутов! Однажды в Мыловарах под Эливой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз, когда наш Девяносто первый полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трех. И представьте себе, самый маленький из них, когда его взяли, так отчаянно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали... и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искусили восемь крестьян. Потом под розгами старосты они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. Да, кстати, они признались еще и в том, что у Ражиц перед самой жатвой сгорела совершенно случайно полоса ржи, когда они жарили там на вертеле серну, к которой с ножом подкрались в крестьянском лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше пятидесяти кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишневых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много всякого другого добра.

Но несчастный отец скаута все-таки не мог успокоиться.

— Что я наделал! — причитал он. — Погубил свою репутацию!

— Это уж как пить дать, — подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью. — После того, что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь.

Ведь если об этой истории напечатают в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайтесь внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.

В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка.

— Простите,— рыцарски напомнил Швейк.— Я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин с шести утра. Я особенно не тороплюсь.

Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж.

В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар. Он обратился к Швейку:

— Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?

— Самым простым манером,— ответил Швейк.— Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому что мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.

— Знаете что, Швейк,— примирительно сказал комиссар,— зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?

— Вы, как говорится, являетесь господином положения,— с удовлетворением ответил Швейк.— А пройтись вечерком в полицейское управление — совсем не дурно — это будет небольшая, но очень приятная прогулка.

— Очень рад, что мы с вами так легко договорились,— весело заключил полицейский комиссар.— Договориться — самое разлюбезное дело. Не правда ли, Швейк?

— Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими,— ответил Швейк.— Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.

Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского,

который нес под мышкой объемистую книгу с немецкой надписью: «Arrestantenbuch»¹.

На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир толкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением.

— Это манифест государя императора об объявлении войны,— сказал Швейку конвоир.

— Я это предсказывал,— бросил Швейк.— А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил полицейский.

— Ведь там много господ офицеров,— объяснил Швейк.

Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул:

— Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!

Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.

— Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторю, господа! — С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.

В далекие, далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.

¹ Книга записи арестованных (нем.).

ГЛАВА VI

ПРОРВАВ ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ, ШВЕЙК ОПЯТЬ ОЧУТИЛСЯ ДОМА

От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слезку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрехшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово.

— Мне очень, очень жаль,— сказал один из этих черно-желтых хищников*, когда к нему привели Швейка,— что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь... но, увы, мы обманулись.

Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил:

— Не стройте из себя дурака! — Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон: — Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению,

ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?

Швейк откашлялся.

— Я, извиняюсь, ничего о глупостях не знаю.

— Ну, разве это не глупость, пан Швейк,— увещевал хищник слащаво-отеческим тоном,— когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: «Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!»

— Я не мог оставаться в бездействии,— объяснил Швейк, уставив свои хорошие глаза на инквизитора.— Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни «ура»... вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат Девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверно, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь,— мы должны довести ее до победного конца, должны постоянно провозглашать славу государю императору. Никто меня в этом не разубедит.

Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:

— Я вполне понял бы ваше воодушевление, если бы оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление.

— Идти под конвоем полицейского — это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох.

Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил ему своим

невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом.

С минуту они пристально смотрели друг на друга.

— Идите к черту,— пробормотало наконец чиновничье рыло.— Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд на Градчаны *. Понятно?

И не успел он договорить, как неожиданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:

— Да вознаградит вас бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.

Так Швейк опять очутился на свободе.

По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.

В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей и среди них — церковный сторож из церкви св. Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, тупо глядя на пивные краны.

— Вот я и вернулся! — весело сказал Швейк.— Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось, уже дома?

Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала:

— Дали ему... десять лет... неделю тому назад...

— Ну, вот видите! — сказал Швейк.— Значит, семь дней уже отсидел.

— Он был такой... осторожный! — рыдала хозяйка.— Он сам это всегда о себе говорил...

Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца, призывая к еще большей осторожности.

— Осторожность — мать мудрости,— сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной пене которого образовалось несколько дырочек: туда капнули слезы жены Паливца, когда она несла пиво на стол.— Нынче время такое, приходится быть осторожным.

— Вчера у нас было двое похорон,— попытался перевести разговор на другое церковный сторож от св. Аполлинария.

— Видать, помер кто-нибудь! — заметил другой посетитель.

Третий спросил:

— Покойного-то на катафалке везли?

— Интересно,— сказал Швейк,— как будут происходить военные похороны во время войны?

Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Паливцовой.

— Не представляю себе,— произнес Швейк,— чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам, такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!

— Что же поделаешь, ведь мой-то признался,— плакала жена Паливца.— Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении и на суде повторил. Вызвали меня свидетельницей, да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем... Я перепугалась этих родственных отношений—как бы из этого еще чего-нибудь не вышло—и отказалась давать показания. Старик, бедняга, так на меня посмотрел... до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил: «Да здравствует Свободная мысль!»*.

— А пан Бретшнейдер сюда больше не заходит? — спросил Швейк.

— Заходил несколько раз,— ответила трактирщица.— Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Бретшнейдера, говорят только про футбол, а его от этого передергивает — того и гляди скорчится и взбесится. За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с Поперечной улицы.

— Это—дело навыка,— заметил Швейк.— Обойщик-то был глуповат, что ли?

— Ну, как мой муж,— ответила с плачем хозяйка.— Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там *корону**. Тут мы все услышали, как пан Бретшнейдер произнес, вынув свою записную книжку: «Ага! Еще одна хорошенькая государственная измена!» — и вышел с этим обойщиком с Поперечной улицы, и тот уже больше не вернулся.

— Много их не возвращается,— сказал Швейк.— Дайте-ка мне рому.

Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.

Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил:

— Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога.

Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:

— Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?

— Ах, это вы? — воскликнул Швейк, подавая ему руку.— А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Ну, что поделяваете? Часто заглядываете сюда?

— Сегодня я пришел, чтобы повидать вас,— сказал Бретшнейдер.— В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде...

— Это все мы вам можем предоставить,— ответил Швейк.— Желаете чистокровного или так... с улицы?

— Я думаю приобрести чистокровного пса,— ответил Бретшнейдер.

— А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? — спросил Швейк.— Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного

мясника в Вршовицах есть такой пес; он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности.

— Мне бы хотелось шпица,— сдержанно повторил Бретшнейдер,— шпица, который бы не кусался.

— Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк.— Есть такой на примете: в Дейвицах, у одного трактирщика.

— Пожалуй, лучше уж пинчера...— нерешительно произнес Бретшнейдер, собаководческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений.

Но приказ был точный, ясный и определенный: во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бретшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.

— Пинчеры бывают покрупнее и помельче,— сказал Швейк.— Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать.

— Это бы мне подошло,— заявил Бретшнейдер.— А сколько стоит пинчер?

— Смотря по величине,— ответил Швейк.— Все зависит от величины. Пинчер не теленок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот: чем меньше, тем дороже.

— Я взял бы покрупнее, дом сторожить,— сказал Бретшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции.

— Отлично! — подхватил Швейк.— Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь: вам щенят или постарше, и потом: кобельков или сучек?

— Мне все равно,— ответил Бретшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы.— Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились?

— Договорились, приходите,— неохотно согласился Швейк.— В таком случае я бы попросил у вас задаток — тридцать крон.

— Какие могут быть разговоры! — сказал Бретшнейдер, отсчитывая деньги.— Ну, а теперь мы с вами разопьем по четвертинке на мой счет...

Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Потом заказал Бретшнейдер, он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике.

Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста.

Бретшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи.

Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок сенбернара, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно издох.

Когда выпили по пятой, Бретшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться.

Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса.

За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:

— Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет.

Жена Паливца действительно плакала на стуле за стойкой.

— Чего вы плачете, хозяйюшка? — спросил Бретшнейдер.— Через три месяца мы победим, будет амнистия — и ваш муж вернется. Вот тогда уж мы закатим пирушку!.. Или вы не верите, что мы победим? — обратился он к Швейку.

— Зачем пережевывать одно и то же? — сказал Швейк.— Должны победить — и баста! Ну, мне пора домой.

Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, не кто иной, как сам Швейк.

— А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет,— сказала она с присущей ей откровенностью,— и я тут... из жалости... на время... взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что... у нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо и по всему виду — вы опытный преступник.

Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами: он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из «ночного кафе» вернулся вчера со своей дамой навеселе.

— Сударь,— сказал Швейк, тряся незваного гостя,— сударь, как бы вам не опоздать к обеду. Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда.

Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из «ночного кафе» раскусил, наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права.

По свойственной всем швейцарам «ночных кафе» привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитывает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше.

Швейк между тем собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:

— Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым.

— Я хотел спать до восьми часов вечера,— проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны.— Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе... Маржена, вставай!

Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже пастолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно пригласал Швейка заглянуть туда.

Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олук царя небесного!»

После ухода непрошенных жильцов Швейк пошел в кухню за пани Мюллеровой, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано:

«Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна».

— Врет! — сказал Швейк и стал ждать.

Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения.

— Если хотите броситься из окна,—сказал Швейк,— так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги и вам придется платить за лечение в больнице.

Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату Швейка... закрыла окно и, вернувшись, сказала:

— Дует, а при вашем ревматизме это нехорошо, сударь.

Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она, все еще заплаканная, вошла в кухню и доложила Швейку:

— Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а сенбернар сбежал во время обыска.

— Черт возьми! — воскликнул Швейк. — Он может влипнуть в историю! Теперь, наверное, его будет выслеживать полиция.

— Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, — продолжала пани Мюллерова, — когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сенбернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно — помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.

— Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова! — вздохнул Швейк. — Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками.

Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ — 40 к.; ФТ — 50 к.; Л — 80 к. и так далее, но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ черно-желтому орлу*.

В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ — фокстерьера, а Л — леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привел от Швейка в полицейское управление.

Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер, с ушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел

рахитом; леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.

Сам сыщик Калоус* заходил к Швейку купить собаку... и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д — 90 к.

Этот урод должен был изображать дога.

Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище, самого невероятного ублюдка.

Этим кончил знаменитый сыщик Бретшнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам.

В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышение по службе», были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами».

Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал:

— Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на Страшном суде.

ГЛАВА VII

ШВЕЙК ИДЕТ НА ВОЙНУ

В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рабы, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям, одной за другой, высыпали по первое число (что они уже давно заслужили), австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу.

Когда Швейку принесли повестку через неделю явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели: у него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе.

— Пани Мюллерова, — слышался из соседней комнаты тихий голос Швейка, — пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку.

Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес:

— Присядьте, пани Мюллерова.

Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил:

— Я иду на войну.

— Матерь божья! — воскликнула пани Мюллерова. — Что вы там будете делать?

— Сражаться, — грубовым голосом ответил Швейк. — У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а

снизу — на Венгрию. Всыпали нам и в хвост и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что «дорогую родину заволокли тучи».

— Но ведь вы не можете пошевелиться!

— Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу.

Пани Мюллерова заплакала.

— Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?

— Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги... Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе.

И в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, brave солдат Швейк пел, лежа в кровати:

Виндишгрец и прочие паны генералы
Утром спозаранку войну начинали.
Гоп, гоп, гоп!
Войну начинали, к господам зывали:
«Помоги, Христос, нам с матерью пречистой!»
Гоп, гоп, гоп!

Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как brave солдат Швейк продолжал петь на своей кровати:

С матерью пречистой. Вон — четыре моста.
Выставляй, Пьемонт *, посильней форпосты.
Гоп, гоп, гоп!
Закипел тут славный бой у Сольферино *,
Кровь лилась потоком, как из бочки винной.
Гоп, гоп, гоп!
Кровь из бочки винной, а мяса — фургоны!
Нет, не зря носили ребята погоны.
Гоп, гоп, гоп!
Не робей, ребята! По пятам за вами
Едет целый воз, груженный деньгами.
Гоп, гоп, гоп!

— Ради бога, сударь, прошу вас! — раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца:

Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?
Гоп, гоп, гоп!

Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал.

Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб, и сказал:

— Не бойтесь, я — доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?

Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне.

— Лежите спокойно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас.

На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, как себя чувствует пациент.

— Хуже ему, пан доктор, — с искренней грустью ответила пани Мюллерова. — Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн.

На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счел необходимым реагировать повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что Швейку еще хуже.

— После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит.

— А порошки принимает точно по предписанию?

— Он за ними еще и не посылал, пан доктор.

Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел.

Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления: во-первых, послал пани Мюллерову купить форменную фу-

ражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только ни появлялась, всюду плакала.

Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!»

За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурш в корпорантской шапочке, закричавший Швейку:

— Heil! Nieder mit den Serben!¹

На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров.

Обо всем происшедшем в «Пражской правительственной газете» была помещена следующая статья:

ПАТРИОТИЗМ КАЛЕКИ

Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьезный момент сыны наше-

¹ Хайль! Долой сербов! (нем.)

го народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв «На Белград!» встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому.

В том же духе писала и газета «*Прагер Тагеблатт*»*, где статья заканчивалась такими словами: «Калеку-добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты».

«*Богемия*»*, тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя.

Итак, эти три газеты считали, что более благородного гражданина чешская страна дать не могла. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда. Особенно старший военный врач Баутце. Это был неутомимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы — от фронта, от пули и шрапнелей. Известно его выражение: «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande»¹. За десять недель своей деятельности он из 11 000 граждан выловил 10 999 симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливица не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: «Kehrt euch!»².

— Уберите этого симулянта, — приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер.

¹ Весь чешский народ — банда симулянтов (нем.).

² Кругом! (нем.)

И вот в этот памятный день перед Баутце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.

— Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt¹,— сказал Баутце,— таких фиговых листков в раю не было.

— Освобожден по идиотизму,— огласил фельдфебель, просматривая его документы.

— А еще чем больны? — спросил Баутце.

— Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю императору до последней капли крови,— скромно сказал Швейк.— У меня отекли колени.

Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:

— Sie sind ein Simulant!² — И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал: — Den Kerl so gleich einsperren³.

Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться...

А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на Малой Стране, перед памятником Радецкому*, Швейк крикнул провожавшей его толпе:

— На Белград!

А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постаментов вслед ковылявшему на старых костылях bravому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке.

Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.

¹ Это действительно необычный фиговый листок (нем.).

² Вы симулянт! (нем.)

³ Немедленно арестовать этого типа (нем.).

ГЛАВА VIII

ШВЕЙК — СИМУЛЯНТ

В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно — чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями.

Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды:

1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.

2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба — мед. Это называлось: «Лизнуть хины».

3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.

4. Клизтир из мыльной воды и глицерина.

5. Обертывание в мокрую холодную простыню.

Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.

Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.

— Больше не выдержу, — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.

— Завтра же еду в полк, — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.

На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.

— Это уже третий на этой неделе, — заметил сосед справа.

— А ты чем болен? — спросили Швейка.

— У меня ревматизм, — ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, «симулирующий» туберкулез.

— С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, — серьезно предупредил Швейка толстый господин. — С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смалодушничал. «Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем: он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.

— Да, долго держался, — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров. — Не чета тому, с параличом. Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло.

— Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему как могли, сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы — и все-таки пена у рта не выступала: нет, да и только. Это было ужасно! И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко! Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.

— Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, — сказал толстый симулянт. — Вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он этак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия, эпилепсия — первый сорт, самая что ни на есть настоящая. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине, и тут пришел конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета: утром кофе с булочкой, к обеду — суп, кнедик с соусом, вечером — каша или суп, и нам, с голодными выкачанными желудками да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравши, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других, с пороком сердца. Те тоже признались.

— Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два лежат

два учителя. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает: сначала три раза медленно «гав, гав, гав», потом пять раз быстро «гав-гав-гав-гав-гав», а потом опять медленно,— и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель... Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрел себе за пятнадцать крон рак желудка.

— Я знаю одного трубочиста из Бржевнова,— заметил другой больной,— он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

— Это все пустяки,— сказал третий.— В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.

— Мне вывихнули ногу за пятерку,— раздался голос с постели у окна.— За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.

— Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон,— заявил его сосед, высохший, как жердь.— Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал,— не найдете. Я живой склад всяких ядов. Япил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен.

— Лучше всего,— заметил кто-то около дверей,— впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло: ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна.

— Вот видите,— сказал Швейк.— Все это каждый должен претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка и клистир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случилось еще хуже. Больного связывали «в козлы» и бросали в каталажку, чтобы он вылезлся. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые на-

ры, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны «в козлы», а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осел,— царствие ему небесное! — заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «*Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh!* ¹ Социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую — по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет: «Идиот ты или не идиот?» — «Точно так, господин полковник, идиот». — «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жраты! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже «Пражскую правительственную газету». В солдатской лавке запрещено было даже заворачивать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд, в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случилось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком

¹ Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная! (нем.),

«Истязание солдат». Мало того: писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник — зверь, и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчл из Глубокой был посажен на два года, — это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? — сказал полковник. — Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орал что есть мочи: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу! Молчит, ни звука. Полковник покраснел как вареный рак и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. Одиннадцатая опять шагает и... молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Ruht!»¹ — командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился да как заорет: «Abtreten!»² Сел на свою клячу и вон. Ждали мы ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю — ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты рады-радешеньки, да и не только солдаты: и унтеры и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась.

¹ Вольно! (нем.)

² Разойдись! (нем.)

Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним — фельдшер с книгой.

— Мацуна!

— Здесь.

— Клистир и аспирин.

— Покорный!

— Здесь.

— Промывание желудка и хинин.

— Коваржик!

— Здесь.

— Клистир и аспирин.

— Котятко!

— Здесь.

— Промывание желудка и хинин.

И так всех подряд — механически, грубо и безжалостно.

— Швейк!

— Здесь.

Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего.

— Чем больны?

— Осмелюсь доложить, у меня ревматизм.

Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.

— Ах вот что, ревматизм...— сказал он Швейку.— Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится такая штука — заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт! Я полагаю, это вас страшно огорчает?

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.

— А-а, вот как, его это огорчает? Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает, бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм и колени отказываются слушать. Не болят ли у вас колени?

— Осмелюсь доложить, болят.

— И всю ночь напролет не можете заснуть? Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт!

строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештянах *, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется.— И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: — Пишите: «Швейк, строгая диета, два раза в день промывание желудка и раз в день клистир». А там — увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир, но, знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.

Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций.

— Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут валяться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! И вы ошибетесь, сукины дети! Через двадцать лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.

— Осмелюсь доложить, господин старший врач,— послышался тихий голос с койки у окна,— я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка.

— Ваша фамилия?

— Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир.

— Хорошо, клистир вам еще поставят на дорогу,— распорядился доктор Грюнштейн,— чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается.

Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказа просьбами или угрозами: дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, ког-

да-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.

— Не щади меня,— подбадривал он палача, ставившего ему клистир,— помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир — и никаких. Помни, на этих клистирах держится Австрия. Мы победим!

На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина, все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить.

Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток.

Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте.

— Ревматизм еще не прошел?

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит.

Швейк был подвергнут новым пыткам.

В это время вдова генерала-от-инфантерии, баронесса фон Боценгейм, прилагала неимоверные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя везти в военную комиссию в коляске для больных и кричал: «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки.

Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собою свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны.

Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее ви-

зитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что «der brave Soldat¹ Швейк», о котором она справлялась, лежит в третьем бараке, койка номер семнадцать. Сопроводить ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита.

Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна.

Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.

— Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые,— заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка.— Когда сало начнет трещать и брызгать, отожди их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.

— Полегче насчет гусиных шкварок,— сказал больной «раком желудка»,— нет ничего лучше гусиных шкварок! Ну, куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала! Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают.

— По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок,— заметил сосед Швейка.— Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются,— домашние шкварки. Они ни коричневые, ни желтые, цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят — значит, пережарены. Они должны таять на языке... но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку.

¹ Бравый солдат (нем.).

— А кто из вас ел шкварки из конского сала? — раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.

— По койкам! Сюда идет великая княгиня. Грязных ног из-под одеяла не высовывать!

Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия, тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелям, к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «вдова генерала» и все, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.

— Вот Швейк,— произнес доктор с деланным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка.— Переносит все очень терпеливо.

Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:

— Ческий зольдат, кароший зольдат, калека зольдат, храбрый зольдат. Я очень любилъ ческий австриец.— При этом она гладила Швейка по его небритому лицу.— Я читаль все в газете, я вам принесля кушать: «ам-ам»; курить, сосать... Ческий зольдат, бравый зольдат!.. *Johann, kommen Sie her!*¹

Камердинер, своими взъерошенными бакенбардами напоминавший Бабинского *, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев.

Баронесса между тем вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера воен-

¹ Иоганн, подойдите! (нем.)

ного производства с этикеткой: «Gott strafe England»¹; на этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц-Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу — не могу, засмейся — не хочу»; потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете — «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика»; редактор тонко разбирался в жизни старого Франца-Иосифа.

Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gott strafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus unitis»², сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло: «Für Gott, Kaiser und Vaterland!»³.

Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение:

Oesterreich, du edles Haus,
steck deine Fahne aus,
lass sie im Winde wehen,
Oesterreich muss ewig stehen!

На другой стороне был помещен чешский перевод:

О Австрия! Могучая держава!
Пусть развевается твой благородный флаг!
Пусть развевается он величаво,
Неколебима Австрия в веках!

¹ Боже, покарай Англию (нем.).

² Объединенными силами (лат.).

³ За бога, императора и отечество! (нем.)

Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли... слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк, он сложил руки, как на молитве, и заговорил:

— «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое...» Пардон, мадам, наврал! Я хотел сказать: «Господи боже, отец небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради твоей вкусим. Аминь».

После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.

— Ах, как ему вкусно, зольдатику! — восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. — Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Отшень, отшень рада, что все это ей на пользу.

Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt euch Gott»¹ и покинула палату, сопровождаемая всей свитой.

Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашел только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов и их кости несколько месяцев палило солнце.

Исчезли и военный ликер и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.

Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты неисправимые симулянты.

— Солдаты, — сказал он, — если бы у вас голова была

¹ Храни вас бог (нем.).

на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали: «Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны». А теперь вы как нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок! Хотите нажить себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь! Прежде чем ваши желудки успеют это переварить, я прочищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все своевременно выкачали. Ну-ка, марш за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумней, чем вы все, вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать... Шагом марш!

Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил:

— Вы знакомы с баронессой?

— Я ее незаконнорожденный сын,— спокойно ответил Швейк.— Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла.

Доктор Грюнштейн сказал лаконично:

— Поставьте Швейку добавочный клистир.

Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба.

Номер двадцать один у окна робко произнес:

— Хотите верить, ребята, хотите нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печеных.

Кто-то проворчал:

— Сделайте ему темную!

Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места.

Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной ко-

миссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунил язык как только мог далеко; его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза.

— Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается.

Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык.

Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк — «ein blöder Kerl»¹, в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой.

— Черт побери! — закричал на Швейка председатель комиссии. — Мы вас выведем на чистую воду!

Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка.

Старший штабной врач вплотную подступил к нему.

— Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас?

— Осмелюсь доложить, не думаю ни о чем.

— Himmeldonnerwetter!² — заорал один из членов комиссии, бряцая саблей. — Он-таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?

— Осмелюсь доложить потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: «Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят...»

— Молчать! — злобно прервал Швейка председатель комиссии.

— У нас уже имеются о вас сведения. Der Kerl meint: man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot...³. Вы вовсе

¹ Идиот (нем.).

² Черт побери! (нем.)

³ Этот молодчик думает, что ему поверят, будто он действительно идиот... (нем.)

не идиот, Швейк, вы хитрая bestия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! Понимаете?

— Так точно, понимаю.

— Сказано вам молчать? Слышали?

— Так точно, слышал, «молчать».

— Himmelherrgott! Ну так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать.

— Так точно, знаю, что не смею болтать.

Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля.

— Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию, — указывая на Швейка, приказал старший штабной врач, — и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость. Парень здоров как бык, симулирует да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба — шутка, комедия... В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган.

Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос:

Я-то вздумал в самом деле
Баловать с войной,—
Дескать, через две недели
Попаду домой.

В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху, в больничных палатах, комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один — у которого нога была оторвана гранатой, а другой — с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «tauglich». Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. Все скоты, дерьмо, и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда после войны им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симули-

ровали. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля.

Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки.

Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду: и на войне и в частной жизни; что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского*, что кровью своей они польют необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, под простреленными знаменами своих полков они ринутся вперед к новой славе, к новым победам...

В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку:

— Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймешь. Это — банда!

ГЛАВА IX

ШВЕЙК В ГАРНИЗОННОЙ ТЮРЬМЕ

Последним убежищем для нежелающих идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, «стрельнул» часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики он считал глупым.

«Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», — сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму.

В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов: различные бухгалтеры интендантства, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованьем, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели солдаты за преступления чисто воинского характера, как-то: нарушение дисциплины, попыт-

ки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов этих невинных были осуждены.

Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.

В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба.

Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция: господина Клима, Славичек * и К⁰. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденций между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома; жандармы приводили сюда старых неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по двенадцати лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царилла у них дома.

Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотольский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотольском плацу раздавалась отрывистая команда: «An! Feuer!»¹ По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за «бунт», поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем.

А в гарнизонной тюрьме троица — штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингардт и фельдфебель Ржепа, по прозвищу «Палач», — оправдывала свое назначение. Сколько людей они до смерти избили в одиночках! Возможно, капитан Лингардт и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вер-

¹ Пли! (нем.)

нулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике.

Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные.

*

Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора.

— Раз ты сюда попал, значит за тобой водятся грешки, брат, а? Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки.

И, чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул своей жилистый кулак Швейку под нос и произнес:

— Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!

Швейк понюхал.

— Не хотел бы я получить по носу таким кулаком. Пахнет могилой,— заметил он.

Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю.

— А ну-ка ты! — крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот.— Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? Взаправду нет? Только не врать! Вранье наказывается.

— Куда его денем? — спросил фельдфебель Ржепа.

— Сунем в шестнадцатую,— решил смотритель,— к голоштанникам. Не видите разве, что написал на препроводительной капитан Лингардт: «Streng behüten, beobachten»¹!

— Да, брат,— обратился он торжественно к Швейку,— со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку, а там переломаем ему ребра — пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником! Помните, Ржепа?

— Ну и задал он нам работы, господин смотри-

¹ Стеречь строго, наблюдать (нем.).

тель! — произнес фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое.— Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще потом дней десять жил. Живучий был, сукин сын!

— Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать,— закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик.— Это все равно что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция! К примеру, придет инспекция и спросит: «Есть жалобы?» Так ты, сукин сын, должен стать во фронт, взять под козырек и отрапортовать: «Никак нет, всем доволен». Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец!

— Никак нет, всем доволен,— повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность.

— Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую,— сказал он мягко, не добавив, против обыкновения, ни «сволочь», ни «сукин сын», ни «мерзавец».

В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в одних подштанниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Streng behüten, beobachten». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они, чего доброго, не удрали.

Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решеток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник.

Швейка принял староста, давно не бритый детина в расстегнутой рубашке. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал:

— Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять в одних подштанниках. Вот будет потеха.

Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня,— излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к богу или приобщало их к добродетели. О такой глупо-

сти не могло быть и речи. Просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки. Дело заключалось вовсе не в том, стал ты ближе к богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге — на лестнице или во дворе — брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли, на земле, совсем оттеснил бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над богом и над спасением души.

Да и, кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат * Отто Кац в общем был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии божьем, чтобы поддержать «падших духом» и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря свое «*Ite, missa est*»¹. Богослужение он вел весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал, — словом, такое, чего до сих пор никто не видывал.

Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же, перед самой дарохранительницей, вкатит этому министранту одиночку и «шпангле» *. Наказанный очень доволен: все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо ее играет.

Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара *.

У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу как вольноопределяющийся. Он так прекрасно разобрался в вексельном праве и в векселях, что

¹ Изыдите, служба окончена (лат.).

за один год привел фирму «Кац и К^о» к полному банкротству; крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину.

Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму «Кац и К^о» между Северной и Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, где приклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу.

Однако вольноопределяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и сыном божьим.

Его торжественно крестили в Эмаузском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали при сем набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из института благородных девиц на Градчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного.

Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился вдребезги в одном весьма порядочном доме с женской прислугой на Вейвдовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции и, когда его назначили фельдкуратором, купил себе лошадь, гарцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.

На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или

посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в «железку», и ходили не лишние основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали «святым отцом». К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.

Проповеди фельдкурата Отто Каца, напротив, радовали всех.

Шестнадцатую камеру водили в часовню в одних подштанниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки,— это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых подштанниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как, за неимением карманов, им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар подштанников.

На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкурат. — *Nabacht!*¹ — скомандовал он. — На молитву! Повторять все за мной! Эй ты там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак, ты находишься в храме божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли, обормоты, «Отче наш»? Ну-ка, попробуем... Так и знал, что дело не пойдет. Какой уж там «Отче наш»! Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о госпде боге. Что, не правду я говорю?

¹ Смирно! (нсм.)

Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, всю развлекались. В задних рядах играли в «мясо».

— Ничего, интересно, — шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы.

— То ли еще будет! — ответил тот. — Он сегодня опять здорово наакался, значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха.

Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз.

— Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь! — закричал он сверху. — Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной.

Есть ли в мире кто милей
Моей милки дорогой?
Не один хожу я к ней —
Прут к ней тысячи гурьбой!
К моей милке на поклон
Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева,
Звать ее Мария-дева.

— Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, — продолжал фельдкурат. — Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места, негодяи, ибо бог есть бытие... которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете! Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха...

— Во-во, начинается. Здорово надрался! — радостно зашептал Швейку сосед.

— ...Тернистый путь греха — это, болваны вы этакие, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитаете валяться в одиночках, вместо того чтобы вернуться к отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы... Я просил бы там, сзади, не фыркать! Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики... Так где бишь я остановился?

Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut! ¹ Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно и что только один бог вечен. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? ² А если вы воображаете, что я буду денно и ночью за вас молиться, чтобы милосердный бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своею милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно свое навеки и во веки веков не оставлял своею милостью вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить не намерен...

Фельдкурат икнул.

— Не намерен... — упрямо повторил он. — Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием божественной любви, ибо господу богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами... Слышите, что я говорю? Эй вы там, в подштаниках!

Двадцать подштаников посмотрели вверх и в один голос сказали:

— Точно так, слышим.

— Мало только слышать, — продолжал свою проповедь фельдкурат. — В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание всевышнего, ибо и милосердие божье имеет свои пределы. А ты, осел, там, сзади, не смей ржать, не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь — одна потеха, словно здесь театр или кинематограф. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам — вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ,

¹ Да, насчет мира душевного, очень хорошо! (нем.)

² Очень хорошо, не правда ли, господа? (нем.)

вы бы все равно не исправились и не обратили души ваши к господу. И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал...»

Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.

Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.

— Пусть каждый из вас берет пример с этого человека, — продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. — Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще придется поразмыслить о бесконечном милосердии божьем, долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему надлежит идти... Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делают все остальные? Ни черта. Вот, смотрите: один что-то жует, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, поисками бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как прошлый раз, когда в задних рядах казенное белье обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.

Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвел в ризницу.

Фельдкурат сидел, развалясь, на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал:

— Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.

Он соскочил со стола и, потрянув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского*:

— Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!

Франциск Салеский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой, и что вы, господа, со мною делаете?»

— Так точно, господин фельдкурат,— сказал Швейк серьезно, все ставя на карту,— исповедуюсь всемогущему богу и вам, достойный отец, я должен признаться, что ревел, правда, только так, для смеху. Я видел, что вам недостает только кающегося грешника, к которому вы тщетно зывали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.

Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного мученика на противоположной стене.

— Вы мне начинаете нравиться,— сказал фельдкурат, снова садясь на стол.— Какого полка? — спросил он, икая.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.

— А за что вы здесь сидите? — спросил фельдкурат, не переставая икать.

Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалею. Мне просто не везет. Я стараюсь как получше,

а выходит так, что хуже не придумаешь, вроде как у того мученика на иконе.

Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:

— Ей-богу, вы мне нравитесь! Придется порасспросить о вас у следователя. Ну, а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы! Kehrt euch! Abtreten!¹

Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:

— В стельку пьян.

За следующим номером программы — святой мессы — публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух — и выиграл.

Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью рьяных католиков. Скорее оно напоминало то чувство, какое рождается в театре, когда мы не знаем содержания пьесы, а действие все больше запутывается и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку: все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение.

Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом и суфлером, что не мешало святому отцу с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить ее к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву.

¹ Кругом! Марш! (нем.)

— Ну и наливался сегодня, нечего сказать,— с огромным удовлетворением отметили перед алтарем.— Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.

Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «*Ite, missa est*», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям:

— Ну, а теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами... даже при мне, хотя я здесь вместо девы Марии, Иисуса Христа и бога отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправляюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад земной! Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь. *Abtreden!*

Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый, избитый обычай посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной оплетенной бутылки, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису.

Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военнополовому суду на Градчанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил

дезертиров за воровство, а воров — за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления его величества и эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.

— Servus! ¹ — сказал фельдкурат, подавая ему руку. — Как дела?

— Неважно, — ответил военный следователь Бернис. — Перепутали мне материалы, теперь в них сам черт не разберется. Вчера я послал начальству уже отработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне все вернули назад, дескать, потому, что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!

Военный следователь плюнул.

— Играешь еще в карты? — спросил фельдкурат.

— Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я все ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка... А ты что подделываешь, святой отец?

— Мне нужен денщик, — сказал фельдкурат. — Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы бог сохранил его от беды и напасти, ну я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда?

¹ Привет! (лат.)

Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти.

— Наверно, у капитана Лингардта,— сказал он после долгих бесплодных поисков.— Черт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингардту. Позвоню-ка ему... Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно... Сам от вас принимал? Действительно странно. Сидит в шестнадцатой... Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются... Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!

Огорченный Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингардтом давно уже существовала неприязнь, причем ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингардт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам¹.

(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)

— Итак, пропал у меня Швейк,— сказал Бернис.— Велю вызвать его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам устроишь в полку.

После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать за дверьми, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся

¹ Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. (Прим. автора.)

рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингардта.

Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следователя.

Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила чересчур благоприятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные снимки спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись к земле под тяжестью повешенных. Особенно хорош был снимок из Сербии, где была сфотографирована повешенная семья: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.

— Ну, так как же с вами быть, Швейк? — спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. — Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, к. и. к. *Militärgericht*¹. Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание.

У следователя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.

Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение; за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис об-

¹ Императорский и королевский военный суд (нем.).

винил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире агитировал среди солдат за создание самостоятельного государства, в составе Чехии и Словакии, во главе с королем-славянином.

— У нас на руках документы,— сказал он несчастному цыгану.— Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.

Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.

— Вы ни в чем не желаете признаваться? — спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание.— Вы не хотите рассказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и смягчит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.

— Осмелюсь доложить,— прозвучал наконец добродушный голос Швейка,— я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.

— Что вы имеете в виду?

— Осмелюсь доложить, я могу объяснить это очень просто... На нашей улице живет угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик с Виноград в Либень *, уселся на тротуаре,— тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то — умеи он говорить — все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш.

Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает чем бы кончилось это дело.

Наконец следователь остановился у своего стола.

— Послушайте-ка,— сказал он Швейку, равнодушно

глазевшему по сторонам,— если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете помнить... Уведите его!

Пока Швейка вели назад, в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе зрителя Славика.

— Впредь до дальнейших указаний Швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Каца,— коротко приказал он.— Заготовить пропуск. Отвести Швейку с двумя конвойными к господину фельдкурату.

— Прикажете отвести его в кандалах, господин поручик?

Следователь ударил кулаком по столу:

— Осел! Я же ясно сказал: заготовить пропуск!

И все, что накопилось за день в душе следователя — капитан Лингардт, Швейк,— все это бурным потоком устремилось на зрителя и кончилось словами:

— Поняли, наконец, что вы коронованный осел!

Так полагается величать только королей и императоров, но даже простой зритель, особа отнюдь не коронованная, все же не остался доволен подобным обхождением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейки, то зритель решил оставить его хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, дабы предоставить ему возможность вкусить всех ее прелестей.

Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.

Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию зрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра.

Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только шелканье вшей, попавших под ногти арестантов.

Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала в шестнадцатую новую волну смрада.

Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.

Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался «глазок» в двери и «архангел» заглядывал внутрь.

На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:

— Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали — политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принес из дому, чего только ему не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак... Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать. Хранил он свое добро в двух мешках. Да, и вбил он себе в башку, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается, поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердый этакий, нет и нет: дескать, ему тут две недели сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить все поровну или же есть по очереди... Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж был избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий... Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом — жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается и если «архангел» увидит, что он дает нам ку-

речь, то его посадят в одиночку. Словом, три дня мы терпели. На четвертый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся... Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он — в крик: меня, мол, обокрали, оставили только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему и говорит: «Знаете что, накройте с головой одеялом и считайте до десяти, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три...» А либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» Тот снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз... два... три...» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки, да как начал кричать: «Иисус Мария! Люди добрые! Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либенский ему снова: «Попробуйте, говорит, еще раз!» Так, верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидел, что в мешках опять нет ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради бога, отоприте!» Само собой, моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался: дескать, вчера жрал до самой поздней ночи и все съел один. А он только плачет и твердит свое: «Ведь крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на таковских напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не обнаружили, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился,

как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился махоркой, и тут впервые он с нами заговорил,— дескать, дайте и мне затянуться. Черта с два мы ему дали!

— А я боялся, что вы дадите,— заметил Швейк.— Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.

— А темную вы ему не делали? — спросил кто-то.

— Нет, забыли.

В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю темную или нет. Большинство высказалось «за».

Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.

В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.

— Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки,— поучал Швейка один из арестантов.— А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется.

Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.

Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.

ГЛАВА X

ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ У ФЕЛЬДКУРАТА

I

Швейковская одиссея снова разворачивается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.

Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила прихрамывал на правую ногу, маленький — на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В его штаны влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи, — а штаны доходили до самой шеи, — поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.

На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.

Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.

— Откуда будешь?

— Из Праги.

— Не удерешь от нас?

В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки по большей части бывают добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила возразил маленькому:

— Кабы мог, удрал бы!

— А на кой ему удирать? — отозвался маленький толстяк. — Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня.

— А что там, в этом пакете? — спросил верзила.

— Не знаю.

— Видишь, не знаешь, а говоришь...

Карлов мост они миновали в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:

— Ты не знаешь, зачем мы ведем тебя к фельдкурату?

— На исповедь, — небрежно ответил Швейк. — Завтра меня повесят. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.

— А за что тебя будут... того? — осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнаванием посмотрел на Швейка.

Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.

— Не знаю, — ответил Швейк, добродушно улыбаясь. — Я ничего не знаю. Видно, судьба.

— Стало быть, ты родился под несчастливой звездой, — тоном знатока с сочувствием заметил маленький. — У нас в селе Ясенной, около Йозефова, еще во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефове повесили

— Я думаю, — скептически заметил долговязый, —

что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.

— В мирное время,— заметил Швейк,— может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.

— Послушай, а ты не политический? — спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.

— Политический, даже очень,— улыбнулся Швейк.

— Может, ты национальный социалист? *

Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.

— Нам-то что,— сказал он.— Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазают. Если бы мы могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это... не так бросалось в глаза. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? — обратился он к верзиле.

Тот тихо отозвался:

— Штыки-то мы могли бы снять. Все-таки это наш человек.— Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.

Они вместе высмотрели подходящее место за воротами, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку пойти рядом.

— Небось, курить хочется? Да? — спросил он.— Кто знает...

Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят»,— но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.

Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове...

— Пить хочется,— заметил Швейк.

Долговязый и маленький переглянулись.

— По одной кружке и мы бы пропустили,— сказал маленький, почувствовав, что верзила тоже согласен,— но там, где бы на нас не очень глазели.

— Идемте в «Куклик»,— предложил Швейк,— ружья вы оставите там на кухне. Хозяин в «Куклике» — Сера-

бона, сокол *, его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в «репрезентяк» *.

Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:

— Ну, что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.

По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».

Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом:

Обзавелся я девчонкой,
А гуляет с ней другой.

За одним столом спал пьяный сардинщик. Время от времени он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» — и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору:

— Молодой человек, угостите нас вермутом!

Неподалеку от музыкантов двое спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом пошла спать в гостиницу «Вальшум».

У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, без устали его угощал.

— Да выпейте уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда еще? Велеть, чтоб вам сыграли? Попросить «Сиротку»?

Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минуто спустя скрипка с гармошкой завыли «Си-

ротку». У старика выступили слезы на глазах, и он затаил дребезжащим голосом:

Чуть понятливее стала,
Все о маме вопрошала,
Все о маме вопрошала.

Из-за другого стола послышалось:

— Хватит! Ну их к черту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!

И, прибегнув к последнему средству убеждения, вражеский стол грянул:

Разлука, ах, разлука —
Для сердца злая мука.

— Франта, — позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца. — Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!

Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк — он часто сживал тут еще до войны — пустился в воспоминания о том, как здесь, бывало, внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку.

Раз они даже запели ее хором:

Как от Драшнера от пана
Паника поднялась.
Лишь одна Марженка спьяна
Его не боялась...

В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая затем сцена напомнила охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче и, на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, спросил: «А у вас есть на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил об одном поэте, который сживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам.

У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начи-

нало нравиться. Маленький толстяк первым почувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту колебался, но, отбросив свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность и последние остатки рассудительности.

— Пойду станцюю,— сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары пляшут «шляпака» *.

Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него уже сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели.

Швейк пил.

Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонов. В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас — хоть потоп».

После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за пять крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или в руку керосин¹. После этого они пролежат не менее двух месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все полгода, и их вынуждены будут совсем освободить от военной службы.

Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу керосин.

Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык уже начал заплетаться, упрашивал Швейка остаться еще. Верзила тоже придерживался того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в «Кукликке» уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один.

Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал.

¹ Это испытанное средство попасть в госпиталь. Однако часто выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином; еще позднее достигли они и других усовершенствований. (Прим. автора.)

Остановились они за «Флоренцией», в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься.

Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупредить своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось, наконец, дотащить их до Краловской площади, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они вели его, а не он их.

Во втором этаже, где на дверях висела визитная карточка «*Отто Кау — фельдкурат*», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.

— Wir... melden... gehorsam... Herr... Feldkurat,— с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату,— ein... Paket... und ein Mann gebracht¹.

— Влезайте,— сказал солдат.— Где это вы так наливались? Господин фельдкурат тоже...— И солдат сплюнул.

Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.

— Так вы уже здесь,— сказал он, обращаясь к Швейку.— А, это вас привели. Э... нет ли у вас спичек?

— Никак нет, господин фельдкурат,— ответил Швейк.

— А... а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является... является... Ну?

— Осмелюсь доложить, является без спичек,— под-сказал Швейк.

¹ Честь имеем... доложить... господин фельдкурат... доставили пакет и человека (нем.).

— Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь, во-вторых. У вас ноги не воняют, Швейк?

— Никак нет, не воняют.

— Так. Это во-вторых. А теперь, в-третьих. Водку пьете?

— Никак нет, водки не пью, только ром.

— Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой рр... тр... трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По... потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык.

— Ты т...т...резвенник! — обратился он к солдату. — Не... не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься — получишь в морду.

Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то, что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.

— Вы п...пьяны!.. — сказал фельдкурат. — Вы напились при исполнении служебных обязанностей! За это я поса...садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придет патруль. Я сейчас п...позвоню в казармы.

Итак, слова Наполеона: «На войне ситуация меняется каждое мгновение» — нашли здесь свое полное подтверждение — утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он не сбежал, а под вечер оказалось, что Швейк привел их к месту назначения и ему пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, то поняли все.

— Я бы чего-нибудь выпил, — вздохнул маленький оптимист.

Но верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что все это — низкое предательство, и громко принялся обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.

Швейк молча расхаживал около двери.

— Ослы мы были,— вопил верзила.

Выслушав все обвинения, Швейк сказал:

— Теперь вы по крайней мере видите, что военная служба — не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, «улыбнулась фортуна».

— Я бы чего-нибудь выпил! — в отчаянии повторял оптимист.

Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.

— Пусти нас домой,— сказал он Швейку,— брось дурачиться, голубчик!

— Отойди! — ответил Швейк.— Я должен вас караулить. Отныне мы незнакомы.

В дверях появился фельдкурат.

— Я... я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по...помните у меня, что на службе пьянствовать не...нельзя! Марш отсюда!

К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.

II

Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца и за это время видел его только один раз. На третий день пришел денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шел к ним за фельдкуратом.

По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат в доску пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, все-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет.

Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата. Тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырек и страпортовал:

— Честь имею явиться, господин фельдкурат!

— А что... вам... здесь надо?

— Осмелюсь доложить, я пришел за вами, господин фельдкурат. Я должен был прийти.

— Должны были прийти за мной? А куда мы пойдём?

— Домой, господин фельдкурат.

— А зачем мне идти домой? Разве я не дома?

— Никак нет, господин фельдкурат, вы — на лестнице в чужом доме.

— А как... как я... сюда попал?

— Осмелюсь доложить, вы были в гостях.

— В... гостях... в го... гостях я не... не был. Вы... о... ошибаетесь...

Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону, наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь:

— Я у вас сейчас упаду...

Наконец Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять задремал.

Швейк разбудил его.

— Что вам угодно? — спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол. — Кто вы такой?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене, — я ваш денщик.

— Нет у меня никаких денщиков, — с трудом выговаривал фельдкурат, пытаюсь упасть на Швейка, — и я не фельдкурат. Я свинья!.. — прибавил он с пьяной откровенностью. — Пустите меня, сударь, я с вами незнаком!

Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьезное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу.

— Я с вами, сударь, незнаком, — уверял он, сопротивляясь Швейку. — Знаете Отто Каца? Это — я.

— Я у архиепископа был! — орал он немного погодя за дверь. — Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете?!

Швейк отбросил «осмелюсь доложить» и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне.

— Отпусти руку, говорят, — сказал он, — а не то дам раза! Идем домой — и баста! Не разговаривать!

Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка.
— Тогда пойдем куда-нибудь. Только к «Шугам» * я не пойду, я там остался должен.

Швейк вытолкал фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому.

— Это что за фигура?— полюбопытствовал один из прохожих.

— Это мой брат,— пояснил Швейк.— Получил отпуск и приехал меня навестить да на радостях выпил: не думал, что застанет меня в живых.

Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промышчал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим:

— Кто из вас умер, пусть явится в течение трех дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплен святой водой...— и замолк, норовя упасть носом на тротуар.

Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперед голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос:

— Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum¹.

У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошел договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезет.

— Заблевал мне все,— пояснил извозчик,— да еще не заплатил за проезд. Я его больше двух часов возил, пока нашел, где он живет. Три раза я к нему ходил, а он только через неделю дал мне за все пять крон.

Наконец после долгих переговоров какой-то извозчик взялся отвезти.

Швейк вернулся за фельдкуратом. Тот спал. Кто-то снял у него с головы черный котелок (он обыкновенно ходил в штатском) и унес.

Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное оцепенение. Он принял Швейка за полков-

¹ Благословение господне на вас, и со духом твоим. Благословение господне на вас (лат.).

ника Семьдесят пятого пехотного полка Юста и несколько раз повторял:

— Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. Я свинья!

С минуту казалось, что от тряски пролетки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Вероятно, это была его собственная импровизация.

Помню золотое время,
Как все улыбались мне,
Проживали мы в то время
У Домажлиц в Мерклине.

Однако минуту спустя он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к Швейку, спросил, прищурив один глаз:

— Как поживаете, мадам?.. Едете куда-нибудь на дачу? — после краткой паузы продолжал он.

В глазах у него двоилось, и он осведомился:

— Изволите иметь уже взрослого сына? — И указал пальцем на Швейка.

— Будешь ты сидеть или нет?! — прикрикнул на него Швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. — Я тебя приучу к порядку!

Фельдкурат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросячьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит.

Потом, опять забыв обо всем на свете, он повернулся к Швейку и сказал тоскливым тоном:

— Пани, дайте мне первый класс *, — и сделал попытку спустить брюки.

— Застегнись сейчас же, свинья! — заорал на него Швейк. — Тебя и так все извозчики знают. Один раз уже облевал все, а теперь еще и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз.

Фельдкурат меланхолически подпер голову рукой и стал напевать:

Меня уже никто не любит...

Но внезапно прервал пение и заметил:

— Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will! ¹.

¹ Извините, дорогой товарищ, вы болван! Я могу петь, что хочу! (нем.)

Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «тпру», что экипаж остановился.

Когда спустя некоторое время они, по распоряжению Швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.

— Не закуривается,— сказал он, понапрасну исчеркав всю коробку спичек.— Вы мне дуете на спички.

Но внезапно он потерял нить размышлений и засмеялся.

— Вот смешно! Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега?

И он стал шарить по карманам.

— Я потерял билет! — закричал он.— Остановите вагон, билет должен найтись!

Потом покорно махнул рукой и крикнул:

— Трогай дальше!

И вдруг забормотал:

— В большинстве случаев... Да, все в порядке... Во всех случаях... Вы находитесь в заблуждении... На третьем этаже?... Это отговорка... Разговор идет не обо мне, а о вас, милостивая государыня... Счет!.. Одна чашка черного кофе...

Засыпая, он начал спорить с каким-то воображаемым неприятелем, который лишал его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролетку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки:

— Нимбург, пересадка!

Швейк с силой притянул его к себе, и фельдкурат, забыв про поезд, принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его «кукареку» победно разносилось по улицам.

На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганями. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать:

— Жил в Будейсвицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер.— Он вдруг расхохотался.— Что, нехорош разве анекдотец?

Все это время Швейк обращался с фельдкуратором с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкуратора отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или отломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что дальше не поедет, так как, вместо того, чтобы ехать в Будейовице, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкуратора вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было:

— Не дрыхни, дохлятина!

На фельдкуратора внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать.

— Одинок я на этом свете, братцы,— голосил он,— заступитесь, приласкайте меня!

— Не срами ты меня,— вразумлял его Швейк,— перестань, а то каждый скажет, что ты нализался.

— Я ничего не пил, друг,— ответил фельдкуратор.— Я совершенно трезв!

Он вдруг приподнялся и отдал честь:

— Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen¹. Я свинья! — повторил он раз десять с пьяной откровенностью, полной отчаяния.

И, обращаясь к Швейку, стал клянчить:

— Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везете?

Потом опустился на сиденье и забормотал:

— «В сиянье месяца золотого...» Вы верите в бессмертие души, господин капитан? Может ли лошадь попасть на небо?

Фельдкуратор громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес:

— Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. Не были ли вы в Вене? Я помню вас по семинарии.

С минуту он развлекался декламацией латинских стихов:

¹ Честь имею сообщить, господин полковник, я пьян (нем.).

— Aurea prima satast aetas, quae vindice nullo*.
Дальше у меня не получается,— сказал он.— Выкиньте меня вон. Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится. Я хочу упасть носом,— заявил он решительно.— Сударь! Дорогой друг,— продолжал он умоляющим тоном,— дайте мне подзатыльник!

— Один или несколько? — осведомился Швейк.

— Два.

— На!

Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь.

— Это отлично помогает пищеварению,— сказал он.— Теперь дайте мне по морде... Покорно благодарю! — воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание.— Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку.

Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Им овладела тоска по мученичеству: он требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву*.

— Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы*.
Хорошо бы штук десять,— восторженно произнес он.

Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет, однако и тут недолго задержался.

— Чардаш танцуете? — спросил он Швейка.— Знаете «Танец медведя»? Этак вот...

Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье.

— Мне чего-то хочется,— кричал фельдкурат,— но я сам не знаю, чего. Вы не знаете ли, чего мне хочется?

И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.

— Что мне до того, чего мне хочется! — сказал он вдруг серьезно.— И вам, сударь, до этого никакого дела нет! Я с вами незнаком. Как вы осмеливаетесь так пристально на меня смотреть?.. Умеете фехтовать?

Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, фельдкурат осведомился:

— Сегодня у нас понедельник или пятница?

Он полюбопытствовал также, что теперь — декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы.

— Вы женаты? Любите горгонзолу*? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?

Потом фельдкурат пустился в откровенность: рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был триппер и он лечил его марганцовкой.

— Я ни о чем другом не мог думать, да и некогда было,— продолжал он икая.— Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите — ик! Что делать! — ик! Уж вы простите меня!

— ...Термосом,— начал он, забыв, о чем говорил минуту назад,— называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка... Как, по-вашему, коллега, которая из игр честнее: «железка» или «двадцать одно»?.. Ей-богу, мы с тобой где-то уже встречались! — воскликнул он, покушаясь обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами.— Мы ведь вместе ходили в школу... Ты славный парень! — говорил он, нежно глядя свою собственную ногу.— Как ты, однако, вырос за это время, что я тебя не видел! С тобой я забываю о всех пережитых страданиях.

Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться: «Богородица, дево, радуйся»,— причем хохотал во все горло.

Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.

— Мы еще не приехали! — кричал он.— Помогите! Меня похищают! Желая ехать дальше!

Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.

При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.

— Вы меня разорвете, господа!

Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.

— Вы меня хотите надуть, — заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику, — мы шли пешком.

И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек:

— Возьми все! Ich kann bezahlen!¹ Для меня лишний крейцер ничего не значит!

Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значат тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.

— Ну, ударь! — посоветовал фельдкурат. — Думаешь, не выдержишь? Пяток оплеух выдержи.

В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка.

Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы. Чего только не приходило ему в голову: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки.

Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека — существо, равноценное свинье.

III

Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану.

¹ Я в состоянии заплатить! (нем.)

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат,— сказал Швейк,— вы ночью...

В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили.

Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, фельдкурат пребывал в угнетенном состоянии духа.

— Не могу вспомнить,— сказал он,— каким образом я попал с кровати на диван?

— А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван — до постели дотащить не могли.

— А что я натворил? Не натворил ли я чего? Я же не был пьян!

— До положения риз,— отвечал Швейк,— вдребезги, господин фельдкурат, до зеленого змия. Я думаю, вам станет легче, если вы переоденетесь и умоетесь...

— У меня такое ощущение, будто меня избили,— жаловался фельдкурат,— и потом жажда. Я вчера не дрался?

— До этого не доходило, господин фельдкурат. А жажда — это из-за жажды вчерашней. От нее не так-то легко отделаться. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под новый тысяча девятьсот десятый год, а первого января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селедку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день вот уже четыре года подряд. И никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая вот карусель, как говаривал наш старый фельдфебель в Девяносто первом полку.

Фельдкурат был подавлен, на него напала хандра. Тот, кто услышал бы его рассуждения в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батека на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей» или что читает его книгу «Сто искр этики», — правда, с некоторыми изменениями.

— Я понимаю,— изливался фельдкурат,— если человек пьет благородные напитки, допустим, арак, мараскин или коньяк, а ведь я вчера пил можжевельнику. Удивляюсь, как я мог ее пить! Вкус отвратительный!

Хоть бы это вишневка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой можжевельники ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая можжевельниковая настойка, какую я однажды пил в Моравии. А ведь вчерашнюю сделали на каком-то древесном спирту и деревянном масле... Посмотрите, что за отрыжка! Водка — яд, — решительно заявил он. — Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике. В этом отношении с водкой дело обстоит, как с ромом, а хороший ром — редкость... Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, — вздохнул он, — она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске.

Он принялся рыться в кошельке.

— У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. Что, если продать диван... — рассуждал он. — Как вы думаете, Швейк? Купят его? Домохозяину я скажу, что я его одолжил или что его украли. Нет, диван я оставляю. Пошлю-ка я вас к капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезет, ступайте в Вршовице *, в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Градчаны * к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо платить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, зложим рояль. Будь что будет! Я вам напишу пару строк для каждого. Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще выдумывайте что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь, не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки.

Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты.

Деньги он получил всюду.

Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и одетому, триста крон, тот был поражен.

— Я взял все сразу, — сказал Швейк, — чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Все сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. Такая каналья! Но когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты...

— Алименты?! — в ужасе переспросил фельдкурат.

— Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Они спрашивали, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще пятнадцати. Хотели узнать адрес.

— Недурно вы провели это дело! — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. — Какой позор! — сказал он, хватаясь за голову. — А тут еще голова трещит!

— Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице, — разъяснял Швейк. — Я хотел провести дело основательно: приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем, пришлось кое-что выдумать. Да, вот еще: там пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится — по крайней мере на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу... И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене.

— А больше вы ничего не обстряпали, Швейк? — в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я

принес вместо двух бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас и всегда нашлось что выпить... За роялем могут зайти? А то еще ломбард закроют...

Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу.

Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной.

Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик.

— Жаль, что у меня нет такого! — сокрушенно развел руками фельдкурат. — Трудно обо всем позаботиться заранее.

После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом.

К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему:

— Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату:

— Хватит! Теперь в постель и дрыхни! Понял?

— Лезу, милый, лезу... Как не полезть? — бормотал фельдкурат. — Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе и я за тебя писал работы по греческому?.. У вас ведь вилла в Эбраславе. Туда можно проехать паромом по Влтаве. Знаете, что такое Влтава?

Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям.

— Видите, господа,— жаловался он шкафу и фикусу,— как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! — вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель.— Восстань против меня земля и небо, я и тогда отрекусь от них!..

И в комнате раздался храп фельдкурата.

IV

К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллеровой. Швейк за ал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и, ввиду того что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел:

«Милая Аннушка!

Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной [] есть и черная [] В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную [] Слышала я, что пан Швейк уже [] так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел,— с той поры, как пришли меня [] Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал [] душу».

Весь лист пересекал розовый штампель:

*Zensuriert K. u. k. Konzentrationslager Steinhof*¹.

¹ Просмотрено цензурой. Императорский и королевский концентрационный лагерь Штейнгоф (нем.).

— И в самом деле, песик был уже мертв! — всхлинула двоюродная сестра пани Мюллеровой. — А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портники. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды, и цветы на окнах.

Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всклипывая и причитая, она наконец высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом.

— Забавно! — сказал Швейк. — Это мне ужасно нравится! Вот что, пани Кейржова, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите.

И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжения:

— Пани Кейржова, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться.

Заглянул Швейк и в трактир «У чаши». Увидав его, жена Паливца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир.

— Мой муж, — начала она мусолить старую историю, — был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали... Мы поосторожнее вас, — закончила она свою речь, — а нажили-таки беду. Не всем такое счастье, как вам.

Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал:

— Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать.

На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, ко-

торый тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки, в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверения Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон.

— Это вам пригодится на первое время,— сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу.— Я вам вполне сочувствую, меня вам нечего бояться.

Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал:

— Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом... Или нет, лучше сварите грог.

ГЛАВА XI

ШВЕЙК С ФЕЛЬДКУРАТОМ ЕДУТ СЛУЖИТЬ ПОЛЕВУЮ ОБЕДНЮ

I

Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.

Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, так же совершали торжественное богослужение, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника.

Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как-то: миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но, поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады яркими перьями лесных птиц.

Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.

В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременя осужденного.

В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник — к виселице, а во Франции — под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испа-

нии — к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и т. д. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову, или только повесят, удавят, или пропустят через тебя пятнадцать тысяч вольт, — но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему!»

Великая бойня — мировая война — также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат; священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров.

Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтех, прозванный «святым», истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом — в другой.

Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками — императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге: «На суше, в воздухе, на море...» и т. д.

Полевую обедню служили дважды: когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем, как вели на смерть.

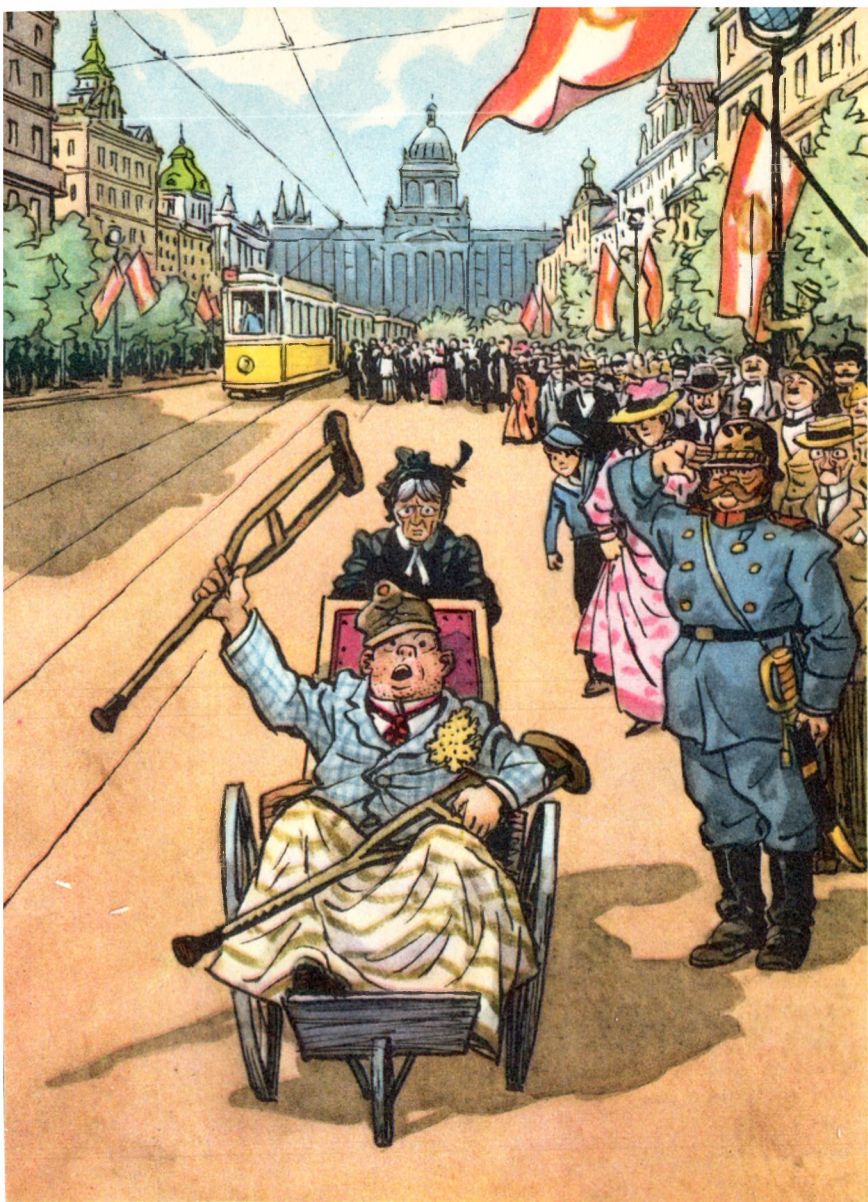
Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников.

Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия:

Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось:
Сулил ты небо нам, но было суждено,
Чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась,
Оставив от тебя лишь мокрое пятно.



— Что вы хотите этим сказать? — оживился
Бретшнейдер.



На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек...

Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия.

Фельдкурат Отто Кац был в восторге.

— Где это вы научились варить такую чудесную штуку? — спросил он.

— Еще в те годы, когда я бродил по свету, — ответил Швейк. — Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывает Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок.

— После такого грога, Швейк, хорошо служить полевою обедню, — рассуждал фельдкурат. — Я думаю перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах! Складной, карманный, так сказать, алтарь у нас есть... Иисус Мария! — схватился он за голову. — Ну и ослы же мы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!

— Беда, господин фельдкурат! — сказал Швейк. — Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.

— В самом деле, только походного алтаря недостает, — озабоченно сказал фельдкурат. — Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили. Дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть?

Он задумался.

— Допустим, я ее потерял... В таком случае одолжим призовой кубок у поручика Семьдесят пятого полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба

«Спорт-Фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун! Расстояние в сорок километров Вена — Медлинг покрыл за один час сорок восемь минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним, на всякий случай, еще вчера об этом договорился... Вечно я откладываю все на последнюю минуту! Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван!

И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет.

— Да идемте же искать этот походный алтарь! — зывал Швейк. — Уже утро. Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику.

Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в «божье благословение» много денег и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда.

Это походило на обещание язычников принести жертву.

От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана — учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность: ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком.

До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться.

В Вршовицах в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костелу в ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись:

«Даровано во хвалу и славу божью учителем в отставке Коларжиком в лето от рождества Христова 1914».

Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек

ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался. И когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем вршовицкий костел.

— Это нас мало интересует,— заявил фельдкурат.— Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!

— Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности,— добавил Швейк.— Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст божий может дорого вам обойтись! Нечего было обращать внимание на ангелов. Один человек из Эгоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст божий и, вместо того чтобы чашу переплавить, понес ее священнику — хочу, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызения совести, и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел божью мать, а в результате получил десять лет. Самое благоразумное для вас — пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.

Старик, одеваясь, тряся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.

— Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого! Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма господня в Вршовицах.

— Разумеется, за счет воинской казны? — оборвал его Швейк сурово и дерзко.— Покорно благодарю за такой божий дар! Некий Пивонька из Хотеборжи, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой короной, тоже принял это за дар божий.

От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом.

Вршовицкий фарар * еще спал и, когда его разбудили, начал браниться, решив спросонок, что его зовут с требой.

— Покоя не дадут с этим соборованием! — ворчал он, неохотно одеваясь. — И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался! А потом торгуйся с ними о плате.

Итак, они встретились в прихожей — представитель господа бога у вршовицких штатских мирян католиков, с одной стороны, и представитель бога на земле при военном ведомстве — с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем менее его следовало переносить из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими.

Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках.

Наконец они прошли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания:

«Получил походный алтарь, который случайно попал в Вршовицкий храм. Фельдкурат Отто Кац».

Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Мориц Малер, изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как-то: четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников.

Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а, наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, — на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании: дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем.

На противоположной створке алтаря намалевали образ, который должен был изображать троицу. Голубя художнику в общем не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот.

Зато бог-отец был похож на разбойника с дикого Запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы.

Бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем бог-сын походил на спортсмена: крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся троица расплывалась, и создавалось впечатление, будто в крытый вокзал въезжает поезд.

Что представляла собой третья икона — совсем нельзя было разобрать.

Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее под этой иконой стояло: «Святая Мария, мать божья, помилуй нас!»

Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на пресвятую троицу.

Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем — делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде: «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» — и так далее.

Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил:

— Пресвятую троицу и деву Марию с фельдкуратором.

Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкуратор поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом — в Бржевновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина.

Понятное дело — не так-то просто служить полевую обедню.

— Шатаемся по всему городу! — сказал Швейк извозчику, и это была правда.

Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкуратор забыл про министранта.

Во время обедни фельдкуратору всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочел сдаться телефонистом и уехал на фронт.

— Не беда, господин фельдкуратор, — заявил Швейк. — Я могу его заменить.

— А вы умеете министровать?

— Никогда этим не занимался, — ответил Швейк, — но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое «*et cum spiritu tuo*»¹ к вашему «*dominus vobiscum*»². В конце концов не так уж, я думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умыть вам руки и наливать из кувшинчика вина...

— Ладно! — сказал фельдкуратор. — Только воды мне в чашу не наливайте. Вот что: вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз — значит «направо», два — «налево». Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем это все пустяки. Не боитесь?

¹ И со духом твоим (лат.).

² Благословение господне на вас (лат.).

— Я ничего не боюсь, господин фельдкурат, даже не боюсь быть министрантом.

Фельдкурат был прав, что в общем все это — пустяки. Все шло как по маслу.

Речь фельдкурата была весьма лаконична:

— Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к богу; да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего.

— Ruht! ¹ — скомандовал старый полковник на левом фланге.

Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных маневрах войск полевые обеды тоже продолжались необычайно долго.

При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро.

Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает.

Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только: «Et cum spiritu tuo». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но в общем богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоение ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты. Так что все сошло благополучно. То там, то здесь среди солдат слышалось: «Дай разок затянуться». И, как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит.

¹ Вольно! (нем.)

Наконец раздалось: «Zum Gebet!»¹, поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Витингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена — Медлинг.

Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат.

— Вот это глоток! — прокатывалось по рядам.

Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда: «На молитву!», хор грянул «Храни нам, боже, государя». Потом последовало: «Стройся!» и «Шагом марш!»

— Собирайте манатки,— сказал Швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь.— Нам нужно все развезти владельцам.

Они поехали на том же извозчике и честно вернули все, кроме бутылки церковного вина.

Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, Швейк обратился к фельдкурату:

— Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министр быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?

— Конечно,— ответил фельдкурат.— Иначе обедня будет недействительна.

— Господин фельдкурат! Произошла крупная ошибка,— заявил Швейк.— Ведь я — вне вероисповедания. Не везет мне, да и только!

Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:

— Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви.

¹ На молитву! (нсм.)

ГЛАВА XII
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСПУТ

Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам.

Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался декламировать Гейне.

Швейк отслужил с фельдкуратом еще одну полевую обедню, у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки — Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний.

— Недурной коньяк, — сказал Отто Кац. — Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова болит.

Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного, причем каждое третье слово ее составляли «и так далее» и «несомненно».

— Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее. Обратите же сердца ваши к богу и так далее. Несомненно. Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее.

«Так далее» и «несомненно» гремело у алтаря попеременно с богом и со всеми святыми.

В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов.

Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких неприятностей — мило и весело. Саперы позабавились на славу.

На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору:

— Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке!

Добравшись наконец домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу.

— Неважно, — махнул рукой Швейк. — Первые христиане служили обедни и без дароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Впрочем, встречаются и такие чудаки. У нас в полку в Будейовицах служил один солдат, хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице шестьсот крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали: вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму! Никто с ним и разговаривать не хотел. Все как один повторяли: «Балда, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень высох весь, стал задумываться и, наконец, бросился под поезд... А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали — не отдавай в полицию, а он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте, милый человек, да ведь

это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за тот бриллиант дали? Знаем мы таких честных заявителей!» В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров,—цена-то этому хламу была двенадцать крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафа. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать двадцать пять крон штрафа; таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях... По-моему, нашу дарохранительницу никто нам не вернет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители... Вчера в трактире «У золотого венка» разговорился я с одним человеком из провинции, ему уже пятьдесят шесть лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень — он вез консервы для армии — попросил его минутку постеречь лошадей, да больше и не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться.

Вечером их навестил набожный фельдкурат, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к богу. Еще будучи учителем закона божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали

о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розог.

Набожный фельдкурт прихрамывал на одну ногу — результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников сыну за то, что тот усомнился в существовании святой троицы; мальчик получил три тумака: один за бога-отца, другой за бога-сына и третий за святого духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу искру божью. Он начал с того, что заметил ему:

— Удивляюсь, что это у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?

Кац улыбнулся.

— Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней — моя бывшая любовница. Направо — японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли, очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк! Принесите его сюда и откройте на третьей странице.

Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.

Набожный фельдкурт был потрясен, когда на столе появились три бутылки.

— Это легкое церковное вино, коллега, — сказал Кац. — Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское.

— Я пить не буду, — упрямо заявил набожный фельдкурт. — Я пришел заронить в вашу душу искру божью.

— Но у вас, коллега, пересохнет в горле, — сказал Кац. — Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.

Набожный фельдкурт немного отпил и вытаращил глаза.

— Чертовски хорошее вино, коллега! Не правда ли? — спросил Кац.

Фанатик сурово заметил:

— Я замечаю, что вы сквернословите.

— Что поделаешь, привычка,— ответил Кац.— Иногда я даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Поверьте, я ругаюсь так же богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с мое — и вы до этого дойдете. Это совсем нетрудно, а нам, духовным, все это очень близко: небо, бог, крест, причастие, и звучит красиво и вполне профессионально. Не правда ли? Пейте, коллега!

Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хотел бы возразить, но не может. Он собирався с мыслями.

— Выше голову, уважаемый коллега,— продолжал Кац,— не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что однажды в пятницу, думая, что это четверг, вы по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост мясо, не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Вам уже лучше?.. А может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются папиновы котлы, то есть котлы высокого давления? Считаете ли вы, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? Что в течение миллионов лет их, несчастных, мнут паровыми трамбовками для шоссежных дорог; скрежет зубовой дантисты вызывают при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? А в раю действуют распылители одеколona и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку: ему, кажется, не по себе.

Придя в чувство, набожный фельдкурат произнес шепотом:

— Религия есть умственное воззрение... Кто не верит в существование святой троицы...

— Швейк,— перебил его Кац,— налейте господину фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он опомнится. Расскажите ему что-нибудь, Швейк.

— Во Влашине, осмелюсь доложить, господин фельдкурат,— начал Швейк,— был один настоятель. Когда его прежняя экономка вместе с ребенком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов *, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». «Батюшка,— отвечает ему баба,— ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги». «Это дьявольское наваждение,— говорит ей настоятель.— Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял ее в костеле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костела его отвезли в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре урсулинок хранится бутылочка с молоком девы Марии, которым-де она поила Христа, а в сиротский дом под Бенешовом привезли лурдскую воду, так этих сироток от нее прохватил такой понос, какого свет не видал.

У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурив глаза, он спросил Каца:

— Вы не верите в непорочное зачатие девы Марии, не верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?

— Дорогой коллега,— ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине,— пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благослове-

нии божем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи — и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.

— А я люблю господу бога, — промолвил набожный фельдкурат, начиная икать, — очень люблю!.. Дайте мне немного вина. Я господу бога уважаю, — продолжал он. — Очень, очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!

Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки подскочили.

— Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона... У него такое отвратительное имя!

— Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени, — заметил Швейк.

— Святую Людмилу люблю и святого Бернарда, — продолжал бывший законоучитель. — Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесенных снегом...

Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понес околесицу.

— Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого декабря. Ирода ненавижу... Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.

Он засмеялся и запел:

Святой боже, святой крепкий...

Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко спросил:

— Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник успения богородицы?

Веселье было в полном разгаре. Появились новые бутылки, и время от времени слышался голос Каца:

— Скажи, что не веришь в бога, а то не налью.

Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:

— Верую в господа бога своего и не отрекусь от него! Не надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!

Наконец его уложили в постель. Но прежде чем заснуть, он провозгласил, подняв руку, как на присяге:

— Верую в бога отца, сына и святого духа! Дайте мне молитвенник.

Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат заснул с «Декамероном» Боккаччо в руках.

ГЛАВА XII

ШВЕЙК ЕДЕТ СОБОРОВАТЬ

Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства:

«Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила:

§ 1. Соборование на фронте отменяется.

§ 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания.

§ 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений.

§ 4. В исключительных случаях Управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование.

§ 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову Управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому Управление предлагает принять соборование».

Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых.

— Послушайте, Швейк,— позвал фельдкурат,— ну, не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат — это я! Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается.

— Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть,— сказал Швейк.— Катехизис для духовных пастырей — все равно, что путеводитель для иностранцев... Вот, к примеру, в Эмаузском монастыре работал один помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крестным знаменем, кто единственный уберется от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и прочие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса».

Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал:

— Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование.

Швейк прочел:

— «...совершается так: священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву: «Чрез это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебе господь согрешения слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей».

— Хотел бы я знать,— прервал его фельдкурат,— как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?

— По-всякому, господин фельдкурат,— сказал Швейк.— Пошарит, например, в чужом кармане или на

танцульках... Сами понимаете, какие там выкидывают номера.

— А ходьбой, Швейк?

— Если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели.

— А обонянием?

— Если кто нос от смрада воротит.

— Ну, а вкусом?

— Когда на девочек облизывается.

— А речью?

— Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат: когда один болтает, а другой слушает...

После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом опять обратился к Швейку:

— Значит, нам нужен освященный епископом елей. Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверно, нет.

Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его труднее, чем живую воду в сказках Божены Немцовой*. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести: «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом»,— всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял серьезный вид.

Он решил попытать счастья в аптеках. Из первой велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи, а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы Полак на Длоугой улице— торговля маслами и лаками,—там на складе наверняка найдется нужный елей.

Фирма Полак на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом.

Когда Швейк попросил елея, освященного епископом, на десять крон, хозяин сказал приказчику:

— Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.

А пан Таухен, заворачивая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:

— Товарец высшего качества-с. В случае, если потребуются кисти, лак, олифа — благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны. Фирма солидная.

Тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии.

Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения, над которыми он от всей души хохотал.

«Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование «последнее помазание» происходит оттого, что обыкновенно является последним из всех святых помазаний, совершаемых церковью над человеком».

«Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста».

«Болящий принимает соборование, по возможности будучи еще в полном сознании и твердой памяти».

Пришел вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать «Союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов».

Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и «Сказание о католическом воине, умирающем за государя императора». На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валяются трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки с амуницией, торчат орудия лафетами вверх. На горизонте горит деревня и рвется шрапнель. На переднем плане лежит умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склоняется ангел, приносящий ему венок с надписью на ленте: «Ныне же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбается, словно ему поднесли мороженое.

Прочитав содержание пакета, Отто Кац плюнул и подумал: «Ну и денек будет завтра!»

Он знал этот «сброд», как он называл союз, еще по храму св. Игнатия, где несколько лет назад читал проповеди солдатам. В те времена он делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие женщины в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после про-

поведи и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока наконец его не допекли и он сказал: «Извините, mesdames, меня ждет капитан на партию в «железку».

— Ну, елей у нас есть,— торжественно объявил Швейк, возвратясь из магазина Полак,— конопляное масло номер три, первый сорт. Хватит на целый батальон. Фирма солидная. Продает также олифу, лаки и кисти. Еще нам нужен колокольчик.

— А колокольчик на что?

— Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с господом богом и с конопляным маслом номер три. Так полагается. Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жижкове фарар избил слепого, он тоже не снял шапки. Этого слепого еще посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой и, значит, звон колокольчика слышал и других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. Так если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик. Я мигом.

Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принес колокольчик.

— Это от ворот постоянного двора «У Кржижков»,— сообщил он.— Обошелся в пять минут страху, но долго пришлось ждать,— все время народ мимо ходил.

— Я пойду в кафе, Швейк. Если кто придет, пусть подождет меня.

Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой как палка.

Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбою уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во вселенной. Говорил он резко, сухо и строго:

— Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги — нету? А еще священник! Тьфу!

И он плюнул в кухне на пол.

— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.

— А я еще плюну, видите — вот! — вызывающе ответил строгий господин и снова плюнул на пол.— Как ему не стыдно! А еще военный священник! Срам!

— Если вы воспитанный человек,— заметил ему Швейк,— то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган, вы, штатский оболтус.

Строгий господин вскочил с кресла и, трясаясь от злости, закричал:

— Да как вы смеете! Я невоспитанный человек?! Что же я по-вашему? Ну?

— Нужник! Вот кто вы,— ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза.— Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.

Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата.

— Вы закончили? — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение: «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход». — Или, может быть, хотите что-нибудь добавить, перед тем как полетите с лестницы?

Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла.

Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и... такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта.

Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка:

— В следующий раз, когда придете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично.

Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним.

Наконец гость дождался. Фельдкурат провел его в комнату и посадил на стул против себя.

Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем.

— Что вы делаете, Швейк?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков.

— Оставьте нас одних, Швейк. У нас есть кое-какие дела.

Швейк по-военному вытянулся.

— Так точно, господин фельдкурат, оставляю вас одних.

И ушел на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор.

— Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь?— спросил фельдкурат своего гостя.

— Да, и надеюсь...

Фельдкурат вздохнул.

— Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надеюсь» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда, любовь...

— Я надеюсь, господин фельдкурат, что сумма...

— Безусловно, многоуважаемый,— перебил его фельдкурат.— Могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который дает деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни...

— В таком случае, вы...— заикаясь, пролепетал гость.

— Да, в таком случае я,— ответил фельдкурат.

Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение.

— Сударь, это мошенничество,— сказал он, вставая.

— Успокойтесь, уважаемый!

— Это мошенничество! — закричал упрямый гость. — Вы злоупотребили моим доверием!

— Сударь, — сказал фельдкурат, — вам безусловно будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно... Швейк! — крикнул он. — Этому господину необходимо подышать свежим воздухом.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — донесли из кухни, — один раз я его уже выставлял.

— Повторить! — скомандовал фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и четко.

Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:

— Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить... В Малешницах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из священного писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, то вовремя наказует его. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке!»

— Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника, — улыбнулся фельдкурат. — Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает господа, его же представителем пастырь есть...» К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «милостью божьей предотвращены все козни врагов против дома сего».

На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошел открыть, вскоре вернулся и доложил:

— Опять он тут, господин фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать.

— Нехорошо вы поступаете, Швейк, — сказал фельдкурат. — Гость в дом — бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.

Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.

— Присаживайтесь, — ласково предложил фельдкурат. — Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?

— Надеюсь, я здесь не для шуток, — сказал мрачный господин. — Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — заметил Швейк, — вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либени. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной «Экснер», и каждый раз он возвращался — дескать, «забыл трубку». Он лез в окна, двери, через кухню, через забор в трактир, через погреб к стойке, где отпускают пиво, и, наверно, спустился бы по дымовой трубе, если б его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом! Наклали ему как следует!

Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил:

— Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать.

— Это вам разрешается, — сказал фельдкурат. — Говорите, уважаемый. Говорите, сколько вам угодно, а мы пока продолжим пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать? Швейк, подавайте на стол!

— Как вам известно, — начал настойчивый господин, — в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт.

Он вынул из кармана записную книжку и продолжал:

— У меня все записано. Поручик Яната был мне должен семьсот крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен две тысячи крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махек попал в

Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий как назло тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите!

Он сунул Кацу под нос свою записную книжку.

— Видите: фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви! Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!

— Это его долг, милый человек,— сказал фельдкурат.— Я тоже завтра пойду соборовать.

— И тоже в холерный барак,— заметил Швейк.— Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой.

— Господин фельдкурат,— продолжал настойчивый господин,— поверьте, я в отчаянном положении! Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?

— Вот когда вас призовут на военную службу и вы попадете на фронт,— заметил Швейк,— мы с господином фельдкуратором отслужим мессу, чтобы, по божьему соизволению, вас разорвало первым же снарядом.

— Сударь, у меня к вам серьезное дело,— настаивала гидра, обращаясь к фельдкурату.— Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить.

— Простите, господин фельдкурат,— отозвался Швейк,— извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав — ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов, я человек светский.

— Мне уже это начинает надоедать, Швейк,— сказал фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя.— Я думал, что этот человек нас позабавит, расска-

жет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то, что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяче двухстах кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от бога и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернить этот священный вечер! Скажите ему сами, Швейк: «Господин фельдкурат вам ничего не даст».

Швейк исполнил приказ, рывкнул в самое ухо гостю.

Однако настойчивый гость остался сидеть.

— Швейк,— сказал фельдкурат,— спросите его, долго ли он еще намерен здесь торчать?

— Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите,— упрямо заявила гидра.

Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал:

— В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите.

— Пойдемте, сударь,— пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо.— Бог троицу любит.

И проделал свое упражнение быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле.

Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к богу, что еще в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение:

Когда в поход мы собирались,
Слезами девки заливались.

С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.

*

В военном госпитале жаждали соборования двое: старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим

долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли, и когда утром в госпиталь явился фельдкурат со Швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.

— Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а нам все дело испортили! — досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются.

И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя Швейк и старался наделать как можно больше шума своим колокольчиком. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали хором:

— Сзади-то, сзади!

Швейк звонил, извозчик стегал кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула:

— Скачут с этим господом богом, словно черти! Так и чахотку недолго получить! — и, запыхавшись, вернулась на свое старое место.

Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчицью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.

В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк.

Фельдкурат прошел в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около ста пятидесяти крон за освященный елей и дорогу. Между начальником гос-

питая и фельдкуратором завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:

— Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования, это обошлось бы вам еще на пятьдесят крон дороже.

Швейк ждал фельдкуратора внизу в караульном помещении с бутылочкой освященного еля, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с Чехо-Моравской возвышенности, который еще верил в бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах: дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды.

Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал:

— Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову! Дурачили нас только! До войны приезжал к нам депутат клерикал и говорил о царстве божьем на земле. Мол, господь бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о боге начали говорить будто о начальнике Генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале! Отрезанные руки и ноги прямо возами вывозят!

— Солдат хоронят нагишом,— сказал другой,— а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди.

— Пока не выиграем войну,— заметил Швейк.

— Такой денщик-холуй выиграет! — отозвался из угла отделенный.— На фронт бы таких, в окопы погнать вас на штыки, к чертовой матери, на провололочные заграждения, в волчьи ямы, против минометов. Прохладаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому не охота.

— А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком!—сказал Швейк.— Неплохо еще получить пулю в брюхо, а еще лучше, когда человека разрывает снаряд

и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить.

Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это?

Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:

— Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена...

— Оставьте свою ученость при себе, — перебил его отделенный командир. — Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце! Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьешь!

— Пятна на солнце действительно имеют большое значение, — вмешался Швейк. — Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире «У Банзетов», в Нуслях. С той поры, перед тем как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну — «прощаюсь, ангел мой, с тобою», я никуда не хожу и пережидаю. Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартиник, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели!

Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из «Союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов», старую, противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и направо и налево раздавала образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы.

Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно-де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный бог да-

ровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратором:

— Эта война, вместо того чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.

Внизу больные показали ей язык и сказали, что она «харя» и «валаамова ослица».

— Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben¹.

И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя императора, когда верит в бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай.

Болтуня наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпустить фельдкурата. Однако фельдкуратор отнюдь не галантно распрощался с ней.

— Мы едем домой, Швейк! — крикнул он в караульное помещение.

Обратно они ехали без всякой торжественности.

— В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, — сказал фельдкуратор. — Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией! Сволочи!

Увидев в руках Швейка бутылочку с «освященным елеем», он нахмурился:

— Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги.

— Я еще попробую смазать этим дверной замок, — прибавил Швейк, — а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой.

Так, не начавшись, закончилось соборование.

¹ В самом деле это ужасно, господин фельдкуратор. Народ так испорчен (нем.).

ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ У ПОРУЧИКА ЛУКАША

I

Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратором. Если до сих пор фельдкуратор был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску.

Фельдкуратор продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты: так некогда продавали в России крепостных.

Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды теплая компания. Играли в «двадцать одно». Фельдкуратор все проиграл и заявил:

— Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но фигура презанятная, нечто *pop plus ultra*¹. Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было.

— Даю сто крон,— предложил поручик Лукаш.— Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип — вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его — не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба — и это его не исправило.

¹ Неповторимое (лат.).



...Швейк звонил, а фельдкврат держал в руке за-
вернутую в салфетку бутылочку с маслом и с
серьезным видом благословлял ею прохожих...



Карлов мост они миновали в полном молчании.

— Идет,— легкомысленно согласился фельдкурат.— Послезавтра получишь или сто крон, или Швейка.

Он проиграл и эти сто крон и, опечаленный, побрел домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра ему нигде денег не раздобыть и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал Швейка.

«Нужно было взять двести крон»,— упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довезти его до дому, он ощутил угрызения совести и почувствовал приступ сентиментальности.

«Это некрасиво с моей стороны,— думал он, звоня к себе в квартиру.— Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза...»

— Милый Швейк,— сказал он, входя в комнату,— со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомета на руках был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомета было столько же. Просадил все деньги...

Он замялся.

— ...и наконец проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль...

— Сто крон у меня найдется,— сказал Швейк.— Могу вам одолжить.

— Давайте их сюда,— оживился фельдкурат.— Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться.

Лукаш был немало удивлен, снова увидев фельдкурата у себя.

— Пришел заплатить тебе долг,— заявил фельдкурат с победоносным видом.— Дайте-ка и мне карту.

— А ну-ка...— сказал он, когда пришла его очередь.— Всего очко перебрал,— добавил он.— Ну, значит, играю,— сказал он, когда подошел следующий круг.— Покупаю! Стоп!

— Двадцать,— объявил банкOMET.

— А у меня девятнадцать,— произнес фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства.

Возвращаясь домой, фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша.

И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал:

— Все напрасно, Швейк. От судьбы не уйдешь! Я проиграл и вас и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша... Пришла пора нам расстаться.

— А что, сорвали банк у вас, или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк.— Плохо дело, когда карта не идет, но еще хуже, когда везет чересчур... Жил в Эдразе жестяник, по фамилии Вейвода, частенько игрывал в «марьяж» в трактире позади «Столетнего кафе». Однажды черт его дернул предложить: «Не перекинуться ли нам в «двадцать одно» по пяти крейцеров?» Ну, сели играть. Метал банк он. Все проиграли, банк вырос до десятки. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда». Вы не можете себе представить, как ему не везло: маленькая, плохонькая не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно: «Маленькая, плохонькая, сюда». Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал домой за деньгами и, когда в банке было больше чем полторы сотни, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупать хоть до тридцати, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: «Шестнадцать». А у трубочиста всего-навсего оказалось пятнадцать. Ну, разве это не невезение! Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешепты-

ваться, что, дескать, передергивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной. Там уже скопилось пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по сто крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую!» — сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду — у него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил. «Теперь придет туз или десятка, — заметил со злорадством трактирщик. — Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут». Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется... третья семерка. Трактирщик побледнел как полотно (это были его последние деньги) и ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка — он был у него в ученье, — кричит, чтобы мы скорей сняли трактирщика: хозяин-де висит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было — все деньги лежали в банке у Вейводы. А Вейвода знай свое: «Маленькая, плохонькая, сюда», и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол, не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились: если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Здераза — около миллиона, швейцар из «Столетнего кафе» — восемьсот тысяч крон, а фельдшер — больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки: то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришлось двадцать одно.

Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостильщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что такому нужно наподдать колленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место,— сказал он трубочисту.— Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовскую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар — свыше трех. А в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостильщик крикнул: «Спасайся, кто может!» Но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Здераский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в «корзинке». В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал,— сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы.— Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка, свыше ста шестидесяти миллионов крон. Старик от всего этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы... Вот это называется — повезло в карты!

Тут Швейк пошел варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил.

— Продал я тебя, дружище,— всхлипывал он,— позорно продал. Прокляни меня, ударь — стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею

взглянуть. Бей меня, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил. Знаешь, кто я?

И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул:

— Я последний подлец...— и уснул, словно ко дну пошел.

На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем.

— Швейк,— сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка,— покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу.

Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен: «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет...»

— За тебя я не боюсь,— сказал Швейк.— С такими способностями ты у фельдкурата удержишься.

Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.

II

Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы рыцарей. Кем, скажем, был Санчо Панса у Дон-Кихота? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. А то мы прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толедо с голода съел без соли своего денщика; об этом герцог сам пишет в своих вос-

поминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной.

В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым — словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это — льстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ, вроде благородного Фернандо, денщика альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет — в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками — начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик — вещь, часто только чучело для оплеух, раб, прислуга с неограниченным числом обязанностей. Не удивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и льстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг — мальчишек в ресторанах в старое время; у них чувство порядочности развивали подзатыльниками и колотушками.

Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить. От него зависит отпуск. Он может походатайствовать, чтобы при рапорте все сошло хорошо.

Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу.

В Девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить.

Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, этот начальник выразился так:

«В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника».

А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила гимнастерку, сшитую лично ей по мерке.

Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумvirату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах.

Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если денщик говорил: «В два часа тридцать пять минут улепетнем», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля.

Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у кот-

ла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню.

— Я люблю грудинку,— говорил он повару,— а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки, знаешь ведь, что я селезенку не жру.

Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного: чтобы его командир был ранен и он вместе с ним попал бы в тыл, как можно подальше.

Своими «секретами» он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон»,— сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив, если мог потом сказать: «Уже собрали».

Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель; не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека, совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество.

Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег как зеницу ока.

Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще пять различных ручных чемоданов, да два одеяла и подушку, не считая узла, который он тащил на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки.

Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая

экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь... и умереть на своих чемоданах от сыпного тифа в лагере для военнопленных.

В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаву. Каждый из них — Наполеон. «Вот я и говорю нашему полковнику: пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать».

В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата связывали.

Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.

III

Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я тоже чех...»

Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше.

Но в остальном он был человек славный: не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывая ее по сараям, и часто из своего скромного жалованья выставлял солдатам бочку пива.

Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал:

А как ноченька пришла,
Овес вылез из мешка,
Тумтария бум!

Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения приди- раться.

Унтеры дрожали перед ним. Из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца.

Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения.

— Видите ли, голубчик, право же, мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины — «трость, ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастерке, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил? Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьете пуговицу и, значит, начнете лодырничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку, послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и, наконец, заснете на посту — и все из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Так-то, голубчик! Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель — исправление наказуемого солдата.

Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямоотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался.

Он родился в деревне среди темных лесов и озер Юж-

ной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности.

Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным: он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые.

Он не считал их за солдат, бил их по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял их и всегда приходил к заключению: «Опять попалась подлая скотина!» Своих денщиков он считал существами низшего порядка.

Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гарцкая канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость.

Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников Швейка отвел бедного пса к живодеру на Панкрац, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело из своего кармана десять крон. А поручику он доложил, что пес сбежал на прогулке. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу.

Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик провел его к себе в комнату и сказал:

— Вас рекомендовал мне господин фельдкурат Кац. Надеюсь, вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу: «Прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?

Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым, добродушным тоном:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это гарцкая канарейка.

Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и не моргнув глазом уставился на поручика.

Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только:

— Господин фельдкурат аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат правду не ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих: меня и еще одного, капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки — в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты... э-э... имейте в виду... э-э... что сегодня... среда, потому что... завтра будет четверг... э-э...»

Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал «равнение направо» и «равнение налево» — смотря по тому, где находился поручик, — с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане:

— Да-с! Чтобы всегда у меня был порядок и чистота и не сметь лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и наказываю за нее немилосердно. Вы меня поняли?

— Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться — знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он, лесник, как, значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что все это враки. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую опе-

рацию, да учитель отговорился: он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он и врал — чем дальше, тем больше. Наконец со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жандармам, а оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, получил бы порцию щетины с солью всего-навсего; я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, — прийти и сказать: дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдет. Ну, все равно как при состязании в ходьбе: как только начнешь мошеничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным».

В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу».

Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил:

— Вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босняка. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот в конце концов украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале.

Поручик умолк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напоирая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома.

— У меня бывают дамы, — подчеркнул он. — Иногда дама останется ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?

— Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если я неожиданно влезу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину, да еще сказала: «С добрым утром!» Нет, я прекрасно знаю, как вести себя, когда ночует дама.

— Отлично, Швейк! С дамами мы должны вести себя исключительно тактично,— сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время.

Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались украсить квартиру всевозможными безделушками.

Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику премиленькую дорожку на стол, на всем его белье монограммы и, наверное, докончила бы коврик на стене, если бы ее муж не прекратил эту идиллию.

Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню поручика в дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила ангела-хранителя.

Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой, она проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности — великолепный подарок одной влюбленной фабриканши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что еще.

Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что, кроме нее, у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц: последнее обстоятельство отразилось на исполнительности этого породистого самца в мундире.

Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллек-

цию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него сохранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные, тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и наконец один корсет и несколько чулок.

— Сегодня у меня дежурство,— сказал поручик Швейку,— я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт.

Отдав приказания, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не преминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.

После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала: сожрала вашу канарейку.

— Как?! — загремел поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных! Наш шляпный мастер выучил-таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек, а теперь уже ни одной больше не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такого хамства! Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал, а то ведь замечательная канареечка, гарцкая! Да с какой еще жадностью жрала, вместе с перьями, и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования, они, бестии, не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслят... Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем

ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать.

Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил:

— Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?

— Так точно, господин обер-лейтенант,— торжественно ответил Швейк.— Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Разве я виноват, что она сожрала канарейку и все знакомство на этом оборвалось! Несколько лет назад в гостинице «У Штупартов» кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи... И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.

И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все общество покровительства животных.

Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его:

— Вы умеете обращаться с животными? Любите их?

— Больше всего я люблю собак,— сказал Швейк,— потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми! Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворяжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобре-

ли чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса, из самой Германии, шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», — говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал: от одного — уши, от другого — хвост, еще от одного — шерсть на морде, от третьего — морду, от четвертого — кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Вот купил я однажды такого кобеля, звали его Балабан, так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости; был он такой заброшенный и все время сидел у меня дома в углу, все грустил, так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел.

Поручика начал занимать этот доклад по собаководению. И Швейк мог без помехи продолжать.

— Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или выдаете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрасьте пса в черный цвет — будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что: с людьми, господин обер-лейте-

нант, нужно говорить, и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить болонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо болонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и вместо того, чтобы увести дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера... Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчишки играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: «Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост», — и больше мне с этой дамой не довелось разговаривать: из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом... Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно...

— Я сам люблю собак, — сказал поручик. — Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что, если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех; то есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю...

— По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер — очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, а умные. Куда до них болванам сенбернарам! Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного...

Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка:

— Уже поздно, мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера.

Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм.

«Скажите, пожалуйста,— заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня.— Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет».

Швейк задумался и вдруг вскочил:

— Чуть было не забыл! — И пошел в комнату к поручику.

Поручик крепко спал. Швейк разбудил его:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказа на счет кошки.

Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» — и заснул опять.

Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей:

— Три дня ареста!

И ангорская кошка полезла обратно под диван.

IV

Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашом. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного.

— Нету дома,— твердо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку:— Отнесите чемоданы в комнату.

— Без разрешения господина поручика нельзя,— сказал Швейк.— Господин поручик приказал мне без него ничего не делать.

— Вы с ума сошли! — вскричала молодая дама.— Я приехала к господину поручику в гости.

— Об этом мне ничего не известно,— ответил Швейк.— Господин поручик на службе и вернется только ночью, а я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. У нас на улице, у кондитера Бильчицкого, оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал... Конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного,— продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет,— но оставаться вам здесь решительно нельзя. Согласитесь сами: раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не получил приказа от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок.

Молодая дама между тем несколько пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала:

— Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам пять крон на дорогу.

— Ничего не выйдет,— ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гостьи.— Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдите вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмо и принесу ответ. Но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя! — После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами, как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал:

— Запираем...

Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его, только когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор.

— А вы передадите наверное?

— Передам, раз обещал.

— А вы найдете господина поручика?

— Не знаю.

Они молча шагали рядом, пока наконец спутница Швейка не заговорила опять:

— Так вы думаете, что вы господина поручика не найдете?

— Нет, не думаю.

— А где он может быть, как вы думаете?

— Не знаю.

На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом:

— Вы не потеряли письмо?

— Пока что нет.

— Так вы наверное передадите его господину поручику?

— Да.

— А найдете вы поручика?

— Я уже сказал, что не знаю, — ответил Швейк. — Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же! Это все равно, как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число.

Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить себе, какое это доставило даме удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно было увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в «Хронике мировой войны». Под фотографией стояла надпись: «Наследник

австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан».

Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманек, прибыл в Киев, а также что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами.

Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться.

Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернется — пусть она никуда не уходит, а сам пошел наверх в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить, и не имеет ни малейшего понятия о геометрии.

— Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии шестисот метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это же очень просто, не правда ли?

Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегченно вздохнул, когда Швейк подошел к поручику и отпрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам это письмо и ждет ответа.— При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул.

То, что прочел поручик, не произвело на него благоприятного впечатления.

«Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein grosses Mistvieh. Ich bin unglücklich.

Deine Katy»¹.

Поручик Лукаш вздохнул, повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком.

— Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?

— Осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя как полагается, но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там не оставил. Ко всему прочему она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой.

Поручик еще раз громко вздохнул, Швейк тоже вздохнул.

— Что?! — угрожающе крикнул поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтешской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжить из квартиры. В конце концов ему пришлось отравить и себя и ее светильным газом, и шутке был конец. Беда с бабьем! Я их насквозь вижу!

— Тяжелый случай! — повторил поручик за Швейком; и никогда еще он не изрекал такой истины.

«Дорогой Генрих» был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Тршебони пани Мицкова, чтобы в течение трех дней повторить то, что она регулярно делает раз в три месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера.

Поручик сидел на столе, повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке:

¹ Дорогой Генрих! Муж гонится за мной по пятам. Мне необходимо погостить у тебя пару дней. Твой денщик — скотина. Я несчастна. Твоя Кати (нем.).

«Дорогая Катя!

До 9 часов вечера я буду на службе. Приду в 10. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены.

Твой Индржих».

— Отдайте письмо даме,— сказал поручик.— Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчет. Наверно, она пошлет вас за чем-нибудь; закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и коробочку «Мемфис». Так. Больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, какое только прочтете в ее глазах.

Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке.

Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил:

— Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично, служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта сто крон, но из этих денег я должен еще купить три бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис».

Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть к кучеру на козлы.

Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшее негодование.

Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго окопаться на этих завоеванных позициях.

Швейк потел. Когда он выколол ковры, даме пришлось в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью, и когда Швейк перетаскивал все из угла в угол, ей опять не понравилось, и она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки.

Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился.

Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменяла наволочки на подушках и перинах. Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри.

Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама между тем переделалась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно.

За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу «мемфисок» и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки.

— Швейк! — раздалось вдруг из спальни. — Швейк!

Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках.

— Войдите.

Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго:

— Снимите башмаки и брюки. Покажите...

Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию.

— Спасибо, Швейк, — сказал поручик. — Много у нее было желаний?

— Так примерно шесть, — отрапортовал Швейк. — Теперь она спит как убитая от этой езды. Я исполнил все ее желания, какие только смог прочесть в ее глазах.

В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Рабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землю целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывавшей теперь роль хозяйки дома.

Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться.

— Лучше всего, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк,— если б ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он ее разыскивает, об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас и он может ее забрать,— и дело с концом. Во Вшенорах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей и ее любовнику. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет... Да в конце концов вы совершенно не виноваты, никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два...

— Он весьма интеллигентный человек,— прервал Швейка поручик Лукаш,— я его знаю. Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму.

Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы:

«Адрес вашей супруги в настоящее время...» Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша.

В один прекрасный день пани Кати была весьма неприятно поражена, когда в квартиру ввалился оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кати, не потеряв в этот момент присутствия духа, представила друг другу обоих мужчин.

— Мой муж... Господин поручик Лукаш.

Ничего другого ей не пришло в голову.

— Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер,— приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем: — Не угодно ли?

Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил:

— Скоро едете на фронт, господин поручик?

— Я подал рапорт о переводе меня в Девяносто первый полк в Будейовицах. Вероятно, поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление: молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того чтобы стремиться стать юнкерами.

— Война сильно повредила торговле хмелем, однако я думаю, она долго не продлится,— заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика.

— Наше положение весьма благоприятно,— сказал поручик Лукаш.— Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи. Однако нет никакого сомнения, что, как только мы прорвем фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей восточной Франции и, кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные маневры на южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть...

Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных дей-

ствий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять:

— Восточные Бескиды — это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы: война кончится скорее, чем мы предполагаем.

— А что Турция? — спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал.

— Турки держатся прекрасно, — ответил поручик, опять подводя его к столу. — Председатель турецкого парламента Гали-бей и Али-бей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданелльской армией назначен маршал Лиман фон Зандерс. Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. Нашим императором были награждены орденами Энвер-паша, вице-адмирал Уседон-паша и генерал Джевад-паша*. Довольно много наград за такой короткий срок.

Некоторое время все сидели молча друг против друга, пока поручик не счел удобным прервать тягостное молчание словами:

— Когда изволили приехать, пан Вендлер?

— Сегодня утром.

— Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома: я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, собственно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, ее здесь никто не побеспокоит. Ради старого знакомства...

Торговец хмелем кашлянул.

— Кати — странная женщина, господин поручик. Примите мою сердечную благодарность за все, что вы для нее сделали. Ни с того ни с сего вздумалось ей ехать в Прагу лечиться от нервов. Я в разъездах, приезжаю домой — никого. Кати нет...

Притворяясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил:

— Ты, наверно, решила, что если я уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома. Ты, конечно, и не подумала...

Видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и, указывая на подчеркнутые места, сказал:

— Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Посмотрите на эту большую, обращенную к юго-западу дугу, где группа гор образует естественное укрепление. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и Северной армией на Висле. Теперь вам это понятно?

Торговец хмелем ответил, что теперь ему все совершенно понятно, но потом с присущей ему тактичностью спохватился, что это могут принять за намек, и, садясь на прежнее место, заметил:

— Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия, Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока еще отправляем его в Италию, но опасаясь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы!

— Италия сохранит строгий нейтралитет,— утешал его поручик.— Это совершенно...

— Но почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией? — внезапно расสวิрепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову: и хмель, и жена, и война.— Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие, экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она еще в тысяча девятьсот двенадцатом году возобновила с нами тройственный союз? О чем думает итальянский министр иностранных дел, маркиз ди Сан Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь?..

— Пожалуйста, не думайте, что я не в курсе событий,— продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма.

Пани Кати с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догоняло другое и разбивало его.

— Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему между Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбр-а-Вевр у Марша * сгорело три пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше пятисот мешков хмеля? Гартмансвейлерский пивоваренный завод в Вогезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мильгауза сравнен с землей. Вот вам уже убыток тысячу двести мешков хмеля в год для моей фирмы. Шесть раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек — вот вам еще убыток в триста пятьдесят мешков хмеля в год!

От волнения он не мог связно говорить, встал, подошел к своей жене и сказал:

— Кати, ты немедленно поедешь со мною домой. Одевайся!

— Меня все эти события совершенно выводят из равновесия,— сказал он через минуту, словно оправдываясь.— А раньше я был вполне уравновешенным человеком.

Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику:

— Это она проделывает не в первый раз: в прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с загребским пивоваренным заводом на поставку шестисот мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя. Нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесет нам последний удар.

И, закуривая предложенную поручиком сигарету, он с отчаянием в голосе сказал:

— Одна только Варшава покупала у нас две тысячи триста семьдесят мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там Августинский. Их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние! Хорошо еще, что у меня нет детей!

Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя Августинского завода из Варшавы вызвало у поручика легкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счел нужным продолжить свою речь.

— Венгерские пивоваренные заводы в Шопрони и в Большой Каниже покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию, приблизительно тысячу мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на тридцать процентов дешевле, а они все-таки не заказывают ни одного мешка... Застой, упадок, нищета, да ко всему этому еще семейные неприятности!

Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушила пани Кати, приготовившаяся к отъезду.

— Как быть с моими чемоданами?

— За ними заедут, Кати,— сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходов и неприятных сцен.— Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в два двадцать.

Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передней поручику:

— В случае если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать как самые заботливые няньки.

Вернувшись в спальню, где пани Кати одевалась на дорогу, поручик нашел на умывальнике четыреста крон и записку:

«Господин поручик, вы не могли защитить меня от этой обезьяны, моего мужа, идиота высшей марки. Вы позволили ему утащить меня, как какую-то забытую в вашей квартире вещь. Кроме того, вы позволили себе заметить, будто предложили мне свое гостеприимство. Надеюсь, я ввела вас в расходы не более чем на прилагаемые здесь четыреста крон, которые прошу разделить с вашим денщиком».

Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках, потом медленно разорвал ее, с улыбкой взглянул на

деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причесываясь перед зеркалом, в волнении забыла на столе расческу, приобщил эту расческу к коллекции своих фетишей-реликвий.

После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика.

— Швейк,— сказал поручик,— вам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала. Ее увез муж. А за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике четыреста крон. Вы должны как следует поблагодарить ее, а также ее супруга, потому что это, собственно, его деньги, которые она забрала с собой на дорогу. Я вам продиктую письмо.

И он продиктовал:

— «Милостивый государь! Соболаговолите передать сердечную благодарность вашей супруге за четыреста крон, подаренные мне ею за услуги, которые я ей оказал во время пребывания в Праге. Все, что я для нее сделал, я делал с удовольствием и посему не могу принять эти деньги и посылаю их...» Ну, пишите же дальше, Швейк! Чего вы там вертитесь! На чем я остановился?

— «...и посылаю их...» — срывающимся, трагическим голосом прошептал Швейк.

— Так, отлично! «...посылаю их обратно с уверениями в совершенном уважении. Шлю почтительный привет и целую ручку вашей супруге. Йозеф Швейк, денщик поручика Лукаша...» Готово?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, числа еще не хватает.

— «Двадцатого декабря тысяча девятьсот сорок второго года». Так. А теперь надпишите конверт, возьмите эти четыреста крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу.

И поручик Лукаш начал весело насвистывать арию из оперетки «Разведенная жена».

— Да, вот еще что, Швейк,— сказал поручик, когда Швейк уходил на почту.— Как там насчет собаки, которую вы ходили искать?

— Есть одна подходящая, господин обер-лейтенант. Замечательно красивый пес. Но достать его будет трудно. Завтра авось все-таки приведу. Кусается!

Последнего слова поручик Лукаш недослышал, а между тем оно было очень важным. «Хватает, сволочь, за что попало,— хотел еще раз повторить Швейк, но в конце концов решил: — Какое, собственно говоря, поручику до этого дело? Он хочет иметь собаку и получить ее».

Легко, конечно, сказать: «Приведите мне собаку». Но ведь каждый хозяин зорко следит за своей собакой, даже и за нечистокровной. Даже Жучку, которая ни на что другое не способна, как только согреть своей старушке хозяйке ноги, хозяйка любит и в обиду не даст.

Сама собака, особенно породистая, инстинктом чувствует, что в один прекрасный день ее у хозяина утащат. Она живет в постоянном страхе, что ее украдут, непременно украдут на прогулке. Например, пес отбегает от хозяина, сначала веселится, резвится, играет с другими собаками, лезет на них, не признавая никакой морали, а они на него, обнюхивает тумбы, закидывает ножку на каждом углу (кстати, и около торговки на корзинку с картошкой)— словом, наслаждается жизнью вволю. Мир кажется ему поистине прекрасным, как юноше, удачно сдавшему экзамены на аттестат зрелости.

Но вдруг вы замечаете, что вся резвость его исчезает: пес начинает чувствовать, что погиб. Тут на него находит отчаяние. В испуге он носится взад и вперед по улице, тянет носом, скулит и в полном отчаянии, поджав хвост, заложив уши назад, начинает метаться посреди улицы, сам не зная куда.

Обладай он даром речи, он непременно закричал бы: «Иисус Мария, меня украдут!»

Были ли вы когда-нибудь на собачьем рынке, видели ли там очень испуганных собак? Это все краденые. Большой город воспитал особый вид воров, живущих исключительно кражей собак. Существуют породы маленьких салонных собачек — карликовые терьеры величиной с перчатку, которые легко поместятся в кармане пальто или в дамской муфте, где их и носят. Даже и оттуда воры стянут у вас бедняжку! Злого немецкого пятнистого дога, свирепо стерегущего загородный особняк, крадут посреди ночи. Полицейскую собаку стибрят из-под носа

у сыщика. Если вы ведете собаку на шнурке, у вас пере-режут шнурок и скроются с собакой, а вы будете стоять и с глупым видом разглядывать обрывок. Пятьдесят процентов собак, которых вы встречаете на улице, несколько раз меняли своих хозяев. И можете купить свою собственную собаку, которую у вас несколько лет назад еще щенком украли во время прогулки.

Но самая большая опасность быть украденной грозит собаке, когда ее выводят для отправления малой и большой физиологической надобности. Особенно много пропадает их при последнем акте. Вот почему каждая собака осторожно оглядывается при этом по сторонам.

Есть несколько методов кражи собак. Собаку крадут или прямо, непосредственно — на манер карманного воровства, или же несчастное создание коварным образом подманивают. Собака — верное животное... но только в хрестоматиях и учебниках естествознания. Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и в предвкушении сардельки он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.

*

На Малой Стране у дворцовой лестницы приютилась маленькая пивная. Однажды в этой пивной в заднем углу в полутьме сидели двое: солдат и штатский. Наклонившись друг к другу, они таинственно шептались. У обоих был вид заговорщиков времен венецианской республики.

— Каждый день в восемь часов утра, — шептал штатский солдату, — прислуга водит его в сквер, на углу Гавличковой площади. Но кусается, сволочь, зверски. Погладить не дается.

И, наклонившись еще ближе к солдату, штатский зашептал ему на ухо:

— Даже сардельки не жрет.

— А жареную?

— И жареную не жрет.

Оба сплюнули.

— Так что же эта сволочь жрет?

— А черт ее знает, что! Бывают такие изнеженные да избалованные псы, что твой архиепископ.

Солдат и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал:

— Один шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, тоже никак не хотел брать у меня сардельку. Ходил я за ним три дня, наконец не выдержал и прямо спросил хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, что, собственно, этот шпиц жрет. Уж больно он красивый. Хозяйке это польстило, и она сказала, что шпиц больше всего любит отбивные котлеты. Купил я ему шницель. Думаю, это будет еще лучше. А шпиц-то, стерва, понимаешь, на шницель даже и не взглянул, потому что это была телятина, а он, оказывается, ничего, кроме свинины, не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Дал я ему ее понюхать, а сам бегу. Собака за мной. Хозяйка как завопит: «Пунтик! Пунтик!» Куда там твой Пунтик! Пунтик побежал за котлетой за угол, а там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у нее было несколько белых пятен, так я их закрасил черным, никто ее и не узнал... Но другие собаки (а их было порядком) все хорошо шли на жареную сардельку из конины... Все-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел,— тебе она скорее скажет. Я уж один раз ее спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула: «А вам какое дело?» С собой-то она не больно хороша, попросту сказать — обезьяна, но с солдатом говорить станет.

— А это действительно чистокровный пинчер? Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет.

— Красавец пинчер! Пальчики оближешь — самый чистокровный! Это так же верно, как то, что ты Швейк, а я Благник. Мне главное — узнать, что он жрет. Тогда я ему дам это и приведу к тебе.

Приятели опять чокнулись. Когда еще до войны Швейк промышлял продажей собак, их поставлял ему Благник. Это был специалист своего дела. Говорили, что он покупал из-под полы у живодера подозрительных по бешенству собак и сплавлял их дальше. У него самого

случилось раз бешенство, и в Венском пастеровском институте он чувствовал себя как дома. Теперь он считал своим долгом бескорыстно помочь Швейку-солдату. Он знал всех собак в Праге и ее окрестностях, а в пивной говорил шепотом, чтобы не выдать себя трактирщику, у которого он полгода назад унес из трактира под полой щенка таксу, дав этому щенку пососать молока из детской бутылочки с соской. Глупый щенок, видно, принял его за свою маму и даже ни разу не пискнул из-под пальто.

Благник принципиально воровал только породистых собак и мог бы стать судебным экспертом в этом деле. Он поставлял собак и на псарни и частным лицам, как придется. Когда он шел по улице, на него рычали собаки, которых он когда-то украл. А стоило ему остановиться где-нибудь перед витриной, как мстительный пес закидывал лапу и опрыскивал у него брюки.

*

На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как бравый солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади. Он поджидал служанку с пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взерошенный, шершавый, с умными черными глазами пес, веселый, как все собаки после того, как справили свою нужду. Пес гонялся за воробьями, завтракшими конским навозом.

Потом мимо Швейка прошла та, чьим заботам была вверена собака. Это была старая дева с благопристойно заплетенными косичками в виде венчика вокруг головы. Она посвистывала на собаку и помахивала цепочкой и изящным арапником.

Швейк заговорил с ней.

— Простите, барышня, как пройти на Жижков?

Она остановилась, посмотрела на него — нет ли тут подвоха, — но добродушное лицо Швейка говорило ей, что этому солдату действительно нужно пройти на Жижков. Выражение ее лица смягчилось, и она вежливо объяснила, как туда попасть.

— Я недавно переведен в Прагу, — сказал Швейк, — нездешний, из провинции. Вы тоже не пражанка?

— Я из Воднян.

— Так мы почти земляки: я из Противина.

Знание географии Южной Чехии, приобретенное Швейком во время маневров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края.

— Так вы, должно быть, знаете в Противине на площади мясника Пейхара?

— Как не знать! Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек хороший, услужливый, отпускает хорошее мясо и никогда не обвесит.

— Уж не Ярешов ли вы сын? — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику.

— Совершенно верно.

— А чей вы, какого Яреша, того, что из Корча под Противином или из Ражиц?

— Из Ражиц.

— Ну, как он там? Все еще развозит пиво?

— Развозит, как же.

— Но ведь ему уже небось за шестьдесят?

— Весной стукнуло шестьдесят восемь, — спокойно ответил Швейк. — Недавно он завел себе собаку, и теперь ему веселей разъезжать. Собака сидит на возу. Аккурат такая собачка, как вон та, что воробьев гоняет... Какая красивая собачка, прямо красавица!

— Это наша, — объяснила Швейку его новая знакомая. — Я здесь служу у господина полковника. Знаете нашего полковника?

— Знаю. Очень образованный господин, — сказал Швейк. — У нас в Будейовицах тоже был один полковник.

— Наш хозяин строгий. Когда недавно пошли слухи, будто нас в Сербии потрепали, он пришел домой словно бешеный, раскидал на кухне все тарелки и меня хотел расчитать.

— Так это, значит, ваш песик? — перебил ее Швейк. — Жаль, что мой обер-лейтенант терпеть не может собак. Я их очень люблю.

Он сделал паузу и вдруг выпалил:

— Собака тоже не все жрет.

— Наш Фокс страсть как разборчив. Одно время и видеть не хотел мяса, но теперь опять стал его есть.

— А что он больше всего любит?

— Печенку, вареную печенку.

— Телячью или свиную?

— Это ему все равно,— улыбнулась «землячка» Швейка, приняв его вопрос за неудачную попытку со- стрить.

Они прогуливались еще некоторое время. Потом к ним присоединился пинчер, которого служанка взяла на цепочку. Пинчер обращался со Швейком очень фамильярно, прыгал на него и пытался хотя бы намордником разорвать ему брюки. Но внезапно, как бы учуяв намерение Швейка, перестал прыгать и поплелся с грустным, пришибленным видом, искоса поглядывая на него, словно хотел сказать: «Значит, и меня это ждет?»

Старая дева рассказала Швейку, что она гуляет здесь с собакой каждый день в шесть часов вечера и что она в Праге ни одному мужчине не верит. Однажды она дала в газету объявление, что хочет выйти замуж. Ну, явился один слесарь, вытянул у нее восемьсот крон на какое-то изобретение и исчез. В провинции люди куда честнее. Если уж выходить замуж, то только за деревенского, и то лишь после войны. А выходить во время войны она считает глупым: останешься вдовой, как другие,— больше ничего.

Швейк вселил в ее сердце бездну надежд, сказав, что придет в шесть часов, и пошел сообщить своему приятелю Благнику, что пес жрет печенку всех сортов.

— Угощу его говьяжьей,— решил Благник.— На говьяжью у меня клюнул сенбернар фабриканта Выдры, очень верный пес. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности.

Благник сдержал слово. Утром, когда Швейк кончил уборку комнат, за дверью раздался лай, и Благник втащил в квартиру упирающегося пинчера, еще более взъерошенного, чем его взъерошила природа. Пес дико вращал глазами и смотрел мрачно, словно голодный тигр в клетке, перед которой стоит упитанный посетитель зоологического сада. Пес щелкал зубами и рычал, как бы говоря: «Разорву, сожру!»

Собаку привязали к кухонному столу, и Благник рассказал по порядку весь ход отчуждения.

— Прошелся я нарочно мимо него, а в руке держу вареную печенку в бумаге. Пес стал принюхиваться и прыгать вокруг меня. Я не даю, иду дальше. Пес — за

мной. Тогда я свернул со сквера на Бредовскую улицу и там дал ему первый кусок. Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индржишскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацлавскую площадь на Винограды до самых Вршовиц. По дороге пес выкидывал прямо чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лег на рельсы и не желал сдвинуться с места: должно быть, хотел, чтобы его переехали... Вот, кстати, я принес чистый бланк для аттестата, купил в писчебумажном магазине Фукса. Ты ведь, Швейк, знаток по части подделывания собачьих аттестатов!

— Это должно быть написано твоей рукой. Напиши, что собака происходит из Лейпцига, с псарни фон Бюлова. Отец — Арнгейм фон Кальсберг, мать — Эмма фон Траутендорф, происходящая от Зигфрида фон Бузенталя. Отец получил первый приз на берлинской выставке конюшенных пинчеров тысяча девятьсот двенадцатого года. Мать награждена золотой медалью нюрнбергского общества разведения породистых собак. Как думаешь, сколько ему лет?

— По зубам — два года.

— Пиши — полтора.

— Он плохо обрублен, Швейк. Посмотри на уши.

— Это можно поправить. Подстрижем позднее, когда обживется. А сейчас пес еще больше озлится.

Похищенный грозно рычал, сопел, метался и наконец лег, усталый, с высунутым языком, и стал ждать, что с ним будет дальше. Понемногу он успокоился и только изредка жалобно скулил.

Швейк предложил собаке остатки печенки, которые дал ему Блажник. Но пес даже не дотронулся до нее. Он лишь посмотрел на печенку и окинул обоих таким взглядом, будто хотел сказать: «Я уже на этом обжегся один раз — жрите сами!»

Пес лежал с покорным видом и притворялся, что дремлет, но внезапно ему пришло что-то в голову, и, встав на задние лапы, он передними стал просить. Пес сдавался.

Но на Швейка эта трогательная сцена ничуть не подействовала.

— Ложись! — крикнул он псу.

Бедняга лег, жалобно скуля.

— Какую кличку вписать ему в аттестат? — спросил Благник.— Раньше его звали Фокс. Нужно подобрать что-нибудь похожее, чтобы сразу понял.

— Ну, назовем его хотя бы Максом. Посмотри-ка, Благник, как ушами зашевелил. Встань, Максик!

Несчастный пинчер, у которого отняли и родной кров и родное имя, встал в ожидании дальнейших приказаний.

— Я думаю, его можно отвязать,— решил Швейк.— Посмотрим, что он будет делать.

Когда собаку отвязали, она сразу подошла к двери и три раза отрывисто гавкнула на крючок, рассчитывая, очевидно, на великодушие этих злых людей. Однако, видя, что люди не понимают ее желания выйти отсюда, она сделала у двери лужу, уверенная, что за это ее вышвырнут, как это случалось во времена ее юности, когда полковник строго, по-военному учил ее соблюдать чистоту.

Вместо этого Швейк заметил:

— Э, да он хитрый, это прямо иезуитский номер!

Швейк вытянул Макса ремнем и ткнул его мордой в лужу, так что тот долго не мог дочиста облизаться.

Пес заскулил от позора и начал бегать по кухне, в отчаянии обнюхивая свой собственный след. Потом ни с того ни с сего подошел к столу, сожрал положенные на полу остатки печенки, лег к печке и после всех своих злоключений уснул.

— Сколько я тебе должен? — спросил Швейк Благника при прощании.

— Не будем об этом говорить, Швейк! — мягко сказал Благник.— Для старого товарища я на все готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через Гавличкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе еще понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу.

Швейк дал Максу как следует выспаться, а сам тем временем купил у мясника четверть кило печенки, сварил ее и, положив собаке под нос, стал ждать, когда она проснется. Макс еще спросонья начал облизываться, потянулся, обнюхал печенку и проглотил ее. Потом подошел к двери и повторил свой опыт, залаяв на крючок.

— Максик,— позвал его Швейк,— поди сюда!

Макс недоверчиво подошел. Швейк взял его на колени и стал гладить. Тут Макс в первый раз приятельски завилал своим обрубком и осторожно стал хватать Швейка за руку. Потом нежно подержал ее в своей пасти, глядя на Швейка умным взглядом, будто говорил: «Ничего, брат, не поделаешь, вижу, что дело проиграно».

Продолжая гладить собаку, Швейк стал нежным голосом рассказывать сказку:

— Жил-был на свете один песик, звали его Фокс, а жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришел однажды один человек да Фокса-то и украл. Попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту, и прозвали его Макс... Максик, дай лапку! Значит, будем с тобой, сукин сын, приятели, если только будешь хорошим и будешь слушаться. А не то тебе на военной службе солоно придется!

Макс соскочил с колен и начал в шутку нападать на Швейка. Вечером, когда поручик вернулся из казармы, Швейк и Макс были уже закадычными друзьями.

Глядя на Макса, Швейк философствовал:

— Если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома.

Поручик Лукаш был приятно поражен, увидев Макса, который тоже обрадовался, опять увидев человека с саблей.

На вопрос поручика, где Швейк достал собаку и сколько за нее заплатил, Швейк совершенно спокойно сообщил, что собаку подарил ему один приятель, которого только что призвали в армию.

— Отлично, Швейк,— сказал поручик, играя с собакой.— Первого числа получите от меня за пса пятьдесят крон.

— Не могу принять, господин обер-лейтенант.

— Швейк,— строго сказал поручик,— когда вы поступали ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня пятьдесят крон, то вы должны их взять и пропить. Что вы сделаете, Швейк, с этими пятьюдесятью кронами?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пропью согласно приказанию.

— А если я забуду об этом, то приказываю вам, Швейк, доложить мне, что я должен вам дать за пса пятьдесят крон. Понятно? Нет ли у него блох? Лучше всего выкупайте и вычешите его. Завтра я на службе, а послезавтра пойду с ним гулять.

В то время как Швейк купал собаку, полковник, ее бывший владелец, ругался на чем свет стоит и угрожал неведомому вору, что предаст его военно-полевому суду и велит расстрелять, повесить, засадить на двадцать лет в тюрьму и изрубить его на мелкие куски.

— Der Teufel soll den Kerl buserieren!¹ — разносилось по квартире полковника, так что стекла дрожали.

— Mit solchen Meuchelmördern werde ich bald fertig².

Над Швейком и поручиком Лукашом нависла катастрофа.

¹ Грубое немецкое ругательство.

² С этими бандитами я живо расправлюсь (нем.).

ГЛАВА XV
КАТАСТРОФА

Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии) был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: «Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?» Или: «Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?»

Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении.

«Книга, господа, это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей».

Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада до-

ма. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.

Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках.

Действительно, было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил прямо чудеса: никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло.

Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее тупыми военными сановниками старой Австрии он получал разные награды и ордена, которыми гордился чрезвычайно; он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук.

На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос: почему введенные в армии винтовки называются «манлихеровки» *?.

В полку о нем говорили с насмешкой: «Ну вот, разведал свою манлихеровину!»

Он был необыкновенно мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошения в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации.

У полковника недоставало половины левого уха, которое ему отсекали в дни его молодости на дуэли, возник-

шей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергут — большой дурак.

Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц-Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота: то же безудержное словоизлияние, то же изобилие крайней наивности.

Однажды на банкете, в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергут ни с того ни с сего провозгласил:

— А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя! Вижу дым, подхожу ближе — оказывается, локомотив и с другой стороны — тоже локомотив. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного!

И, выдержав паузу, добавил:

— Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого еще болтают об инерции, господа! Не едет, стоит, с места не трогается! Нет бензина. Ну, не смешно ли?

При всей своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире стоял домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь и к причастию в костел св. Игнатия и с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных.

Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных.

— К чему возить сюда пленных? — говорил он. — Перестрелять их всех! Никакой пощады! Плясать среди трупов! А гражданское население Сербии сжечь, все до последнего человека. Детей прикончить штыками.

Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирордта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их:

Пусть выше гор, до самых облаков
Людские кости и дымящееся мясо громоздятся...

Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом.

— Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант,— заботливо сказал Швейк,— будьте с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. Я бы не советовал вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в доме «Образ Марии» *. Страшный кусака. Как увидит в своем районе чужую собаку — готов ее разорвать, боится, как бы она у него чего не сожрала, совсем как нищий у церкви святого Гаштала *.

Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю, в общем, всячески проявляя свою радость по поводу предстоящей прогулки.

Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах. О чем завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? Как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания?.. На кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу? Это нужно только артиллеристам. Существуют же наконец карты Генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту — и все ясно.

Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Halt!»¹.

Услышав этот окрик, пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое «Halt».

Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его.

¹ Стой! (нем.)

Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь.

Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии.

«Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм.

Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника. Рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря: «Мое почтеньице!» — он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания: «Я не видел».

«Солдат, — говаривал он, — должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь или делает вид, что не видит начальства, или же отдает честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное».

— Господин поручик, — грозно сказал полковник Краус, — младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено. А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да, с краденными! Собака, которая принадлежит другому, — краденая собака.

— Эта собака, господин полковник... — возразил было поручик Лукаш.

— ...принадлежит мне, господин поручик! — грубо оборвал его полковник. — Это мой Фокс.

А Фокс, или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви...

— Гулять с краденными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера. Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись

предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий! — гремел полковник Краус, глядя Фокса-Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник науськивал его: «Возьми, возьми его!»

— Господин поручик, — продолжал полковник, — считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденном коне? Прочли ли вы мое объявление в «Богемии» и «Тагеллате» о том, что у меня пропал пинчер?.. Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты?

Полковник всплеснул руками.

— Ну и офицеры пошли! Где дисциплина? Полковник дает объявления, а поручик их не читает!

«Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, старый хрыч!» — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, придававшие ему сходство с орангутангом.

— Пройдемте со мною, — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу.

— На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво. Да-с. Прогуливаться с собакой своего начальника! В то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров... А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявления о пропаже собаки сто лет подряд. Двести лет! Триста лет!!

Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и, сказав: «Можете продолжать прогулку!» — повернулся и пошел, злобно стегая хлыстом по полам своей офицерской шинели.

Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услышал: «Halt!» Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца-запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его.

Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания.

«Что сделать со Швейком? — раздумывал поручик. — Всю морду ему разобью. Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней, и то этому негодяю мало!»

Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой.

«Убью его, мерзавца!» — сказал он про себя, садясь в трамвай.

*

Между тем бравый солдат Швейк всецело погружен в разговор с вестовым из казармы. Вестовой принес поручику бумаги на подпись и поджидал его.

Швейк угощал вестового кофеем. Разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу.

Говорилось об этом как о чем-то, не подлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы.

— Государь император небось одурел от всего этого, — заявил Швейк. — Умным-то он вообще никогда не был, но эта война его наверняка доконает.

— Балда он! — веско поддержал солдат из казармы. — Глуп, как полено. Видно, и не знает, что война идет. Ему, наверно, постеснялись бы об этом доложить. А его подпись на манифесте к своим народам — одно жульничество. Напечатали без его ведома — он вообще уже ничего не соображает.

— Он того... — тоном эксперта дополнил Швейк. — Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребенка. Намедни в пивной один господин рассказывал, что у него две кормилицы, и три раза в день государя императора подносят к груди.

— Эх! — вздохнул солдат из казармы. — Поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия наконец успокоилась.

Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете, а солдат, делая из этого изречения практический вывод, прибавил:

— Как только попаду на фронт, тут же смоюсь.

Так высказывались солдаты о мировой войне. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слу-

хи, будто у Находа * уже слышна орудийная пальба и будто русский царь очень скоро будет в Кракове.

Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию и что германские солдаты получают сигареты и шоколад.

Потом они вспомнили о войнах былых времен, и Швейк серьезно доказывал, что когда в старое время в осажденный город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой вони. Он де читал, что один город осаждали целые три года и неприятель только и делал, что развлекался с осажденными на такой манер.

Швейк рассказал бы еще что-нибудь не менее интересное и поучительное, если б разговор не был прерван приходом поручика Лукаша.

Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату.

Глаза поручика метали молнии. Сев на стул и глядя на Швейка, он размышлял о том, когда начать избивение.

«Сначала дам ему раза два по морде,— решил поручик,— потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет».

На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти!

«Что мне с ним делать! — мелькнуло в голове поручика. Боже, какой у него глупый вид!»

А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствовавшей о полном душевном равновесии: «Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается».

Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал:

— Швейк! Вы украли собаку!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На Спаленой улице живет мастер, который делает кожаные сумки, по фамилии Кунеш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял. Обычно он оставлял собаку в пивной, а иногда у него ее крали, а то даже одалживали и не возвращали.

— Молчать, скотина, черт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй или же верблюд, болван! Ходячий анекдот! Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Откуда вы ее достали? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир! Говорите правду: украли или нет?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал.

— А знали, что пес краденый?

— Так точно, господин обер-лейтенант. Знал, что пес краденый.

— Иисус Мария! Швейк! Himmelherrgott! Я вас застрелю! Скотина! Тварь! Осел! Дерьмо! Неужели вы такой идиот?

— Так точно, господин обер-лейтенант, такой.

— Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом?

— Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант.

И швейковские глаза добродушно и приветливо глянули в лицо поручику. Поручик опустил в кресло и застонал:

— За что бог наказал меня такой скотиной?!

В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богемия» и «Тагеблатт» и велел ему прочесть объявления полковника о пропаже собаки.

Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил:

— Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать, и еще сулит награду в сто крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается пять—десять крон. Некий Божетех из Коширж только этим и кормился. Украдет, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявления о том, где какая собака потерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. Истратил на объявления целых пять крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божетех взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове и с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты...

— Идите-ка спать, Швейк,— приказал поручик.— Вы способны нести околесицу хоть до утра.

Сам поручик тоже отправился спать: в эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привел ему, Лукашу, а на смотре наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, гарцевал на нем перед своей ротой.

На рассвете поручик чувствовал себя как после разгугла, словно его всю ночь колотили по голове. Его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру, но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя.

Поручик тихо простонал в постели:

— Вон, скотина! Это ужасно!..

Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом:

— Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?

— Знаете что, Швейк? У меня большое желание предать вас полевому суду, — сказал поручик со вздохом. — Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну, скажите откровенно, Швейк: нравитесь ли вы самому себе?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто ни поглядится — с души воротит. Рот этак, голова — будто помойная лоханка, брюхо — как у налившегося пивом каноника, словом — фигура. Как-то шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя... Ну, моментально это зеркало пришлось снять.

Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться кофе со сливками.

Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение:

Марширует Грневиль * к Прашной бране * на шпацир.

Сабельки сверкают, а девушки рыдают.

И потом:

Мы солдаты-молодцы,
Любят нас красавицы,
У нас денег сколько хошь,
Нам везде прием хорош.

«Тебе-то уж, наверно, везде хорошо, прохвост!» — подумал поручик и сплюнул.

В дверях показалась голова Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы, вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь ординарец! — И фамильярно прибавил: — Это, должно быть, насчет той самой собачки.

Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал:

— Слышал уже.

И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже.

Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле.

— Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в Девяносто первый полк в Будейовице. Знаете ли вы, где находятся Будейовице? На Влтаве. Да. На Влтаве, и впадает в нее там Огрже или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный и, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры.

Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему:

— Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать... Ну вот! Муха попала в чернильницу. Это удивительно — зимой мухи попадают в чернильницу. Непорядок!

«Да говори уж наконец, старый хрыч!» — подумал поручик.

Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету.

— Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись, и тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в Девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в Девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров перебили сербы. Даю вам честное слово, что в течение трех дней вы будете в Девяносто первом полку в Будейовицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые...

И, не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал:

— Уже половина одиннадцатого, пора принимать полковой рапорт.

На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и

объявил, что в ближайшие дни он отправляется на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке*.

Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка:

— Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это «маршбатьяк», а маршевая рота — «маршка». Мы это всегда сокращаем.

— Итак, объявляю вам, Швейк, — торжественно провозгласил поручик, — что мы вместе отправимся в «маршбатьяк», если вам нравится такое сокращение. Но не возражайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Вы довольны?

— Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен, — ответил бравый солдат Швейк. — Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падём на поле брани за государя императора и всю августейшую семью!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «В ТЫЛУ»

Заканчивая первую часть «Похождений бравого солдата Швейка» («В тылу»), сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части — «На фронте» и «В плену». В этих частях и солдаты и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности.

Жизнь — не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут* говорит иначе, чем хозяин трактира «У чаши» Паливец. А наш роман не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это историческая картина определенной эпохи.

Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте.

Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.

Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идет вразрез с тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература.

Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной.

Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь народ в сентиментальных людишек, онанистов псевдокультуры типа св. Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда св. Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила.

Такие типы на людях страшно негодуют, но с огромным удовольствием ходят по общественным уборным и читают непристойные надписи на стенках.

Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности.

Нельзя требовать от трактирщика Паливца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова *, доктор Гут, госпожа Ольга Фастрова * и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках; разговаривают они на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.

*

Пользуюсь случаем сообщить здесь, что трактирщик Паливец жив. Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца-Иосифа.

Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги.

Ему доставило громадное удовольствие все, что я о нем написал, выставив его как всем известного грубияна.

«Меня уже никто не переделает,— сказал он мне.— Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать

себе глотку из-за какой-то ослицы. Нынче я стал знаменитым».

Его уважение к себе возросло. Его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я захотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выразаться не следует (что, конечно, в мои намерения не входило), я безусловно оскорбил бы этого порядочного человека.

Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови.

*

Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, вышел из церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без усталости проповедовал и в конце концов заявил: «Эй вы, гипсовые головы! Я — Отто Кац, фельдкурат!»

*

Много людей типа покойного Бретшнейдера, государственного сыщика старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит.

*

Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк». Это свидетельствует о противоположном. Однако, если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.

Ярослав Гашек

Часть
вторая

На
фронте



ГЛАВА I

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В ПОЕЗДЕ

В одном из купе второго класса скорого поезда Прага — Чешские Будейовице ехало трое пассажиров: поручик Лукаш, напротив которого сидел пожилой, совершенно лысый господин, и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно готовился выслушать очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк — скотина и тому подобное.

Дело было пустяковое: речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк.

— У нас украли чемодан! — ругал Швейка поручик. — Как только у тебя язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — тихо ответил Швейк, — его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан, *несомненно*, понравился, и этот человек, *несомненно*, воспользовался моментом, когда я отошел от чемоданов доложить вам, что с нашим багажом все в порядке. Этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для него момент. Они только и подстерегают такие моменты. Два года тому назад на Северо-Западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце, но воры были настолько благородны,

что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что ее, мол, подкинули и они нашли ее в воротах. Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку.— И Швейк с твердой убежденностью заключил: — На вокзалах всегда крали и будут красть — без этого не обойтись.

— Я глубоко убежден, Швейк,— сказал поручик,— что вы плохо кончите. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так уж и родились ослом. Что было в этом чемодане?

— Почти ничего, господин обер-лейтенант,— ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа штатского, сидевшего напротив поручика с «Нейе Фрейе Прессе» * в руках и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию.— Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно, не потерпели никаких убытков, потому как и зеркало и вешалка принадлежали домохозяину...— Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласково: — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я не знал заранее, а что касается зеркала и вешалки, то я хозяину обещал отдать все, когда вернемся с фронта. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни хозяин в убытке не останемся. Как только зайдем какой-нибудь город...

— Цыц! — не своим голосом взвизгнул поручик.— Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за тысячу лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель. Надеюсь, и вы это заметили?

— Так точно, господин обер-лейтенант, заметил. У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет, все равно как некоему Нехлебе с Неказанки, что ходил в трактир «Сучий лесок». Тот вечно мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день рассказывал: «А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах!» * И всегда, бывало, беда стряслась с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо-мирно до-

мой; а под конец все-таки оказывалось, что он где-то сломал забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого приходил в отчаянье, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды дедушка его отправился бродить по свету...

— Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими рассказами!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все, что я сейчас говорю,— сущая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету...

— Швейк,— разозлился поручик,— еще раз приказываю вам прекратить болтовню. Я ничего не хочу от вас слышать. Как только приедем в Будейовице, я найду на вас управу. Посажу под арест. Вы знаете это?

— Никак нет, господин поручик, не знаю,— мягко ответил Швейк.— Вы об этом даже не заикались.

Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели «Богемию» и принялся читать сообщения о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и ее действиях на Средиземном море. Когда он дошел до сообщения о новом германском изобретении — разрушении городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются три раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином:

— Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабеком, агентом из банка «Славия»?

Не получив ответа, Швейк обратился к поручику:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я однажды читал в газетах, что у нормального человека должно быть в среднем от шестидесяти до семидесяти тысяч волос и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими, есть много тому примеров... А один фельдшер,— продолжал он неумолимо,— говорил в кафе «Шпирков», что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые шесть недель после рождения...

Тут произошло нечто ужасное. Лысый господин вскочил и заорал на Швейка:

— Marsch heraus, Sie Schweinkerl!¹ — и поддал его ногой. Потом лысый господин вернулся в купе и преподнес поручику небольшой сюрприз, представившись ему.

Швейк слегка ошибся: лысый субъект не был паном Пуркрабеком, агентом из банка «Славия», а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор в гражданском платье совершал инспекционную поездку по гарнизонам и в данный момент готовился нагрянуть в Будейовице.

Это был самый страшный из всех генерал-инспекторов, когда-либо рождавшихся под луной. Обнаружив где-нибудь непорядок, он заводил с начальником гарнизона такой разговор:

— Револьвер у вас есть?

— Есть.

— Прекрасно. На вашем месте я бы знал, что с ним делать. Это не гарнизон, а стадо свиней!

И действительно, после каждой его инспекционной поездки то тут, то там кто-нибудь стрелялся.

В таких случаях генерал фон Шварцбург констатировал с удовлетворением:

— Правильно! Это настоящий солдат!

Казалось, его огорчало, если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места. Достаточно было пустяка, чтобы офицер распрощался со своей частью и отправился на черногорскую границу или в безнадежно спившийся гарнизон в грязной галицийской дыре.

— Господин поручик, — спросил генерал, — в каком военном училище вы обучались?

— В пражском.

— Итак, вы обучались в военном училище и не знаете даже, что офицер является ответственным за своего подчиненного? Недурно. Во-вторых, вы болтаете со своим денщиком, словно с близким приятелем. Вы допускаете, чтобы он говорил, не будучи спрошен. Еще лучше! В-третьих, вы разрешаете ему оскорблять ваше начальство. Это лучше всего! Из всего этого я делаю определенные выводы... Как ваша фамилия, господин поручик?

¹ Вон отсюда, свинья! (нем.)

— Лукаш.

— Какого полка?

— Я служил...

— Благодарю вас. Речь идет не о том, где вы служили. Я желаю знать, где вы служите теперь?

— В Девяносто первом пехотном полку, господин генерал-майор. Меня перевели...

— Вас перевели? И отлично сделали. Вам будет очень невредно вместе с Девяносто первым полком в ближайшее время увидеть театр военных действий.

— Об этом уже есть решение, господин генерал-майор.

Тут генерал-майор прочитал лекцию о том, что в последнее время, по его наблюдениям, офицеры стали разговаривать с подчиненными в товарищеском тоне, что он видит в этом опасный уклон в сторону развития разного рода демократических принципов. Солдата следует держать в страхе, он должен дрожать перед своим начальником, бояться его; офицеры должны держать солдат на расстоянии десяти шагов от себя и не позволять им иметь собственные суждения и вообще думать. В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет. Раньше нижние чины боялись офицеров как огня, а теперь...— Генерал-майор безнадежно махнул рукой.— Теперь большинство офицеров нянчится со своими солдатами, вот что.

Генерал-майор опять взял газету и углубился в чтение.

Поручик Лукаш, бледный, вышел в коридор, чтобы рассчитаться со Швейком. Тот стоял у окна с таким блаженным и довольным выражением лица, какое бывает только у четырехнедельного младенца, который досыта насосался и сладко спит.

Поручик остановился и кивком головы указал Швейку на пустое купе. Затем сам вошел вслед за Швейком и запер за собою дверь.

— Швейк,— сказал он торжественно,— наконец-то пришел момент, когда вы получите от меня пару оплеух, каких еще свет не видывал! Как вы смели приставать к этому плешивому господину! Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург!

Швейк принял вид мученика.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у меня никогда и в мыслях не было кого-нибудь обидеть, ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду — вылитый пан Пуркрабек, агент из банка «Славия»! Тот ходил в наш трактир, и однажды, когда он уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плечи чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу № III с, свои услуги по накоплению средств на приданое и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Известное дело, мне всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплеух.

Слово «тоже» слетело с уст Швейка так трогательно и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука.

Швейк продолжал:

— Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться. Ему действительно полагается иметь от шестидесяти до семидесяти тысяч волос — так было сказано в статье «Что должно быть у нормального человека». Мне никогда не приходило в голову, что на свете существует плешивый генерал-майор. Произошла, как говорится, роковая ошибка, это с каждым может случиться, если один человек что-нибудь выскажет, а другой к этому придерется. Несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу через Леобен и вез с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Мориц и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал с ветчины влюбленных глаз. Портной Гивл это заметил, да и говорит себе вслух: «Ты, паршивец, тоже, небось, с удовольствием пожрал бы!» Тут господин отвечает ему по-чешски: «Ясно, я бы пожрал, если б ты дал». Ну и слопали вдвоем весь окорок, еще не доезжая Чешских Будейовиц. А звали того господина Войтех Роус.

Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из

купе; не успел он усесться на свое место, как в дверях появилась открытая физиономия Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять минут мы в Таборе. Поезд стоит пять минут. Прикажете заказать что-нибудь к завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные...

Поручик вскочил как ужаленный и в коридоре сказал Швейку:

— Еще раз предупреждаю: чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив вовсе не видеть вас, и, будьте уверены, я об этом хлопочу. Не показывайтесь мне на глаза, исчезните, скотина, идиот!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант!

Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошел в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то железнодорожником:

— Разрешите обратиться к вам с вопросом...

Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступить в разговор, апатично кивнул головой.

— Бывал у меня в гостях один знакомый,— начал Швейк,— славный парень, по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют; короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими вещами, правду сказать, никогда не интересовался, но раз уж я сегодня обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть, а то вдруг понадобится.

Швейк встал и вместе с железнодорожником подошел к тормозу с надписью: «*В случае опасности*».

Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата:

— Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать.

Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как случилось, что рукоятка оттянулась назад и поезд остановился.

Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать,— дескать, он не уличный мальчишка.

— Я сам удивляюсь,— добродушно говорил он подоспевшему кондуктору,— почему это поезд вдруг остановился. Ехал, ехал, и вдруг на тебе — стоп! Мне это еще неприятнее, чем вам.

Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах.

Но Швейк все время повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт.

— Начальник станции вам все разъяснит,— решил кондуктор.— Это обойдется вам в двадцать крон.

Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток обер-кондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле.

— И стоит,— рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие,— двадцать крон — это еще дешево. Однажды, когда государь император посетил Жижков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем императором на колени прямо посреди мостовой. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало падать на колени в его районе, надо было на соседней улице, которая относится уже к району комиссара Краузе, и там выражать свои верноподданнические чувства. Потом Шнора посадили.

Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошел обер-кондуктор.

— Ну ладно, едем дальше,— сказал Швейк.— Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним, но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины: генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — паршивая вещь. Наполеон при Ватерлоо опоздал на пять минут и очутился в нужнике со всей своей славой.

В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только:

— Швейк!

Швейк взял под козырек и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, на меня свалили, что я остановил поезд. Чудные поломы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах! К ним лучше не приближаться, а то наживешь беду и с тебя захотят содрать двадцать крон, как теперь с меня.

Обер-кондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся.

Пассажиры разошлись по своим купе, Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошел на свое место. Швейк, железнодорожный служащий и кондуктор остались одни.

Кондуктор вынул записную книжку и стал составлять протокол о происшествии. Железнодорожник враждебно глядел на Швейка. Швейк спросил:

— Давно служите на железной дороге?

Так как железнодорожник не ответил, Швейк рассказал случай с одним из своих знакомых, неким Франтишеком Мличеком из Угржиневи под Прагой, который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через две недели, когда он пришел в Гостивар в гости к огороднику Ванеку, подрался там и об него измочалили арапник.

— Это случилось,— прибавил Швейк,— в тысяча девятьсот двенадцатом году в мае месяце.

Железнодорожный служащий открыл дверь клозета и заперся там.

Со Швейком остался кондуктор, который стал вымогать у него двадцать крон штрафа, угрожая, что в противном случае сдаст его в Таборе начальнику станции.

— Ну что ж, отлично,— сказал Швейк,— я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции.

Швейк вынул из кармана гимнастерки трубку, закурил и, выпуская едкий дым солдатского табака, продолжал:

— Несколько лет тому назад начальником станции Свитава был пан Вагнер. Вот был живодер! Придирался к подчиненным и прижимал их где мог, но больше всего наседавал на стрелочника Юнгвирта, пока несчастный с отчаяния не побежал топиться. Но перед тем как покончить с собою, Юнгвирт написал начальнику станции письмо о том, что будет пугать его по ночам. Ей-богу, не вру! Так и сделал. Сидит вот начальник станции ночью у телеграфного аппарата, как вдруг раздается звонок, и начальник станции принимает телеграмму: «*Как поживаешь, сволочь? Юнгвирт*». Это продолжалось целую неделю, и начальник станции в ответ этому призраку разослал по всем направлениям следующую служебную депешу: «*Прости меня, Юнгвирт!*» А ночью аппарат настукал ему такой ответ: «*Повесься на семафоре у моста. Юнгвирт*». И начальник станции ему повиновался. Потом за это арестовали телеграфиста соседней станции. Видите, между небом и землей происходят такие вещи, о которых мы и понятия не имеем.

Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции.

Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия.

«Плевать мне на все,— блеснуло у него в голове,— и на Швейка и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк».

Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников.

Поручик Лукаш вздохнул. Но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем.

Поезд давно уже пыхтел по направлению к Чешским Будейовицам, а на перроне таборского вокзала толпа вокруг Швейка все не убывала.

Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то пани даже сказала:

— Опять к солдатику придираются.

Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка двадцать крон штрафа. Он убежден, что этот солдат невиновен.

— Вы только посмотрите на него,— показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившее: «Люди добрые, я не виноват!»

Затем появился жандарм, вывел из толпы какого-то гражданина, арестовал его и увел со словами: «Вы за это ответите! Я вам покажу, как народ подстрекать! Я покажу, как «нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются».

Несчастный гражданин не нашел других оправданий, кроме откровенного признания, что он мясник у Старой башни и вовсе «не то хотел сказать».

Между тем добрый господин, который верил в невиновность Швейка, заплатил за него в канцелярии станции штраф, повел Швейка в буфет третьего класса, угостил его там пивом и, выяснив, что все удостоверения и воинский железнодорожный билет Швейка находятся у поручика Лукаша, великодушно одолжил ему пять крон на билет и на другие расходы.

При расставании он доверительно сказал Швейку:

— Если попадете, солдатик, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Эдолбунове. Вот вам моя фамилия. Будьте благоразумны и долго на фронте не задерживайтесь.

— Будьте покойны,— ответил Швейк,— всякому занятно посмотреть чужие края, да еще задаром.

Швейк остался один за столиком и помаленьку пропивал пятерку, полученную от благодетеля.

А в это время на перроне те, кто не присутствовал при разговоре Швейка с начальником станции, а только издали видели толпу, рассказывали, что поймали шпио-

на, который фотографировал вокзал. Однако это опровергала одна дама, утверждавшая, что никакого шпиона не было, а просто, как она слышала, один драгун у дамской уборной зарубил офицера за то, что тот ломился туда за возлюбленной драгуна, провожавшей своего милого.

Этим фантастическим версиям, характеризующим нервозность военного времени, положили конец жандармы, которые очистили перрон от посторонних.

А Швейк продолжал пить, с нежностью думая о своем поручике: «Что-то он будет делать, когда придет в Чешские Будейовице и во всем поезде не найдет своего денщика?»

Перед приходом пассажирского поезда ресторан третьего класса наполнился солдатами и штатскими. Преобладали солдаты различных полков, родов оружия и национальностей. Всех их занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они снова уезжали на фронт. Ехали за новыми ранениями, увечьями и болезнями, ехали, чтобы заработать себе где-нибудь на тоскливых равнинах Восточной Галиции простой деревянный надгробный крест, на котором еще много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать вылинявшая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью; вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки — человеческие глаза...

Один из кандидатов на крестные муки, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире со следами ила и крови, подсел к Швейку. Это был хилый, исхудавший грустный солдат. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрепанный кошелек и стал пересчитывать деньги. Потом взглянул на Швейка и спросил:

— Magyarul? ¹

— Я чех, товарищ, — ответил Швейк. — Не хочешь ли выпить?

¹ Мадьяр? (венгерск.)

— Nem tudom, barátom¹.

— Это, товарищ, не беда,— потчевал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдатику,— пей на здоровье.

Тот понял, выпил и поблагодарил:

— Köszönöm szívesen².

Затем он снова стал просматривать содержимое своего кошелька и под конец вздохнул. Швейк понял, что мадьяр с удовольствием заказал бы себе пива, но у него не хватает денег. Швейк заказал ему кружку пива. Мадьяр опять поблагодарил и с помощью жестов стал рассказывать что-то, показывая свою простреленную руку, и прибавил на международном языке:

— Пиф-паф! Бац!

Швейк сочувственно покачал головой, а хилый солдат из команды выздоравливающих показал левой рукой на полметра от земли и, подняв три пальца, сообщил Швейку, что у него трое малых ребят.

— Nincs ам-ам, nincs ам-ам³,— продолжал он, желая сказать, что дома нечего есть. Слезы брызнули у него из глаз, и он вытер их грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля.

Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в Чешские Будейовице. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом-мадьяром, все менее вероятной становилась возможность купить себе билет.

Через станцию прошел еще один поезд на Будейовице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое:

— Пиф-паф... Бац! Három gyermek, nincs ам-ам, éljen!⁴.

Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком.

— Валяй пей, мадьярское отродье, не стесняйся! —

¹ Не понимаю, друг (венгерск.).

² Сердечно благодарен (венгерск.).

³ Нечего... нечего (венгерск.).

⁴ Трое детей, нечего... ура!(венгерск.)

уговаривал его Швейк.— Нашего брата вы, небось, так бы не угощали!

Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что, когда их Двадцать восьмой полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх.

Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, был оскорблен. Позднее это у солдат-чехов стало явлением обыкновенным; да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же.

Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сегедине они всыпали венграм по первое число и повывкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться и даже сам он получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправлять в тыл лечиться.

Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверно, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось «на память»,— этим он поддержал бы честь своего полка.

— Ihre Dokumenten¹, фаши документ? — обратился к Швейку начальник патруля, фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками.

— Я видит фас все время сидеть, пить, не ехать, только пить, зольдат!

— Нет у меня документов, миляга,— ответил Швейк.— Господин поручик Лукаш из Девяносто первого полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале.

— Was ist das Wort «миляга»?² — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил:

— «Миляга» — das ist wie «Herr Feldwebl»³.

Фельдфебель возобновил разговор со Швейком:

— Документ должен каждый зольдат. Пез доку-

¹ Ваши документы (нем.).

² Что значит это слово? (нем.)

³ Это все равно что «господин фельдфебель» (нем.).

мент посадить auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund¹.

Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу — начальнику-фельдфебелю.

Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам.

Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделенные командиры Паульгарт и Бахмайер Двадцать первого стрелкового его величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью: «Унтер-офицер 5-го гонведского гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей».

Ниже, направо, висел плакат:

ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ

Текст к этим плакатам с вымышленными примерами исключительной доблести сочиняли призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали: когда им на фронт присылали подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свертывали из них козьи ножки или же находили им еще более достойное применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих «образцов доблести».

Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочел на плакате:

ОБОЗНИК РЯДОВОЙ ИОСИФ БОНГ

Санитары относили тяжелораненых к санитарным повозкам, стоявшим в готовности в неприметной ложби-

¹ ...в военную стационарную комендатуру вшивого парня, как бешеную собаку (нем.).

не. По мере того как повозки наполнялись, тяжелораненых отправляли к перевязочному пункту. Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали обстреливать его гранатами. Конь обозного возчика Иосифа Бонга, состоявшего при императорском третьем санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты. Но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг павшего коня и оттащил тяжелую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи, я все равно не оставляю здесь упряжки!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. «Я не хотел бросать упряжи — ведь она почти новая. Жаль, думаю, пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт; только там он заявил о своем ранении. Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью «За храбрость»!

Прочтя плакат и видя, что фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении:

— Прекрасный пример доблести! Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге в «Пражской правительственной газете» я тоже читал об одной обозной истории, еще лучше этой. Там говорилось о вольноопределяющемся докторе Йозефе Вояне. Он служил в Галиции, в Седьмом егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми да и прилети новая граната, и оторвала ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку! Тогда

он перебросил эту палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдет! Бог знает чем бы все это кончилось, если б шрапнель не уложила его наповал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отдалай его шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорей исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!»

— Чего только в газетах не напишут,— заметил один из караульной команды. — Небось, сам сочинитель и часу не вынес, отупел бы от всего этого.

Ополченец сплюнул.

— Был у нас в Чаславе один редактор из Вены, немец. Служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать, а когда прикомандировали его к «маршке», в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил.

В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля.

— Wenn man idu drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als: «По-цешски, цехи»¹.

И, уходя (очевидно, в буфет), приказал унтер-офицеру из ополченцев отвести этого вшивого негодяя (он указал на Швейка) к подпоручику, как только тот придет.

— Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается,— сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля.— Пристает к ней вот уже две недели и каждый день приходит с телеграфа злой как бес и говорит:

— Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen².

Подпоручик и на этот раз пришел злой как бес. Слышно было, как он хлопает по столу книгами.

— Ничего не поделаешь, брат, придется тебе пойти к нему,— посочувствовал Швейку унтер.— Через его ру-

¹ Стоит уйти на три минуты, как только и слышно: «По-чешски, чехи» (нем.).

² Вот ведь шлюха, не хочет спать со мной (нем.).

ки немало уже солдат прошло и старых и молодых.— И он ввел Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида.

Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе:

— Ага!..

Унтер-офицер отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов.

Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале Швейка задержат без документов.

Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был прийти к заключению, что предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов — вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он упал с другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы.

Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать и о чем спрашивать.

— Что вы делали на вокзале? — наконец придумал он.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на Чешские Будейовице, чтобы попасть в свой Девяносто первый полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчет штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза.

— Не морочьте мне голову! — не выдержал подпоручик.— Говорите связно и коротко и не болтайте ерунды.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш Девяносто первый пехотный полк, нам не повезло: сначала у нас пропал че-

модан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор, совершенно лысый...

— Himmelherrgott! — шумно вздохнув, выругался подпоручик.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня все лезло постепенно, как из старого матраца, а то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говаривал покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны, перед тем как выдрать его ремнем.

Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал:

— Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился, и поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор. А в коридоре меня потом обвинили в том, о чем я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне. Поезд ушел, господин поручик с чемоданами и со всеми — и своими и моими — документами тоже уехал, а я остался без документов и болтался, как сирота.

Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал: все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного идиота, — все это абсолютная правда.

Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будейовице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк с добродушной улыбкой, — пока я ждал следующего поезда, со мной вышел казус: сел я пить пиво — и пошло: кружка за кружкой, кружка за кружкой...

«Такого осла я еще не видывал, — подумал подпоручик. — Во всем признается. Сколько их прошло через мои руки, и все, как могли, ввали и не сознавались, а этот преспокойно заявляет: «Прозевал все поезда, потому что пил пиво, кружку за кружкой».

Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой и обратился к Швейку:

— Вы, голубчик, дегенерат. Знаете, что такое «дегенерат»?

— У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать — повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф.

Подпоручик счел за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и отчеканил:

— Вот что, вы, балбес, балбес до мозга костей, медленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будейовице. Если я еще раз увижу вас здесь, то поступлю с вами, как с дезертиром. Abtreten! ¹

Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, подпоручик закричал:

— Marsch hinaus, слышали, abtreten. Паланек, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в Чешские Будейовице.

Через минуту унтер-офицер Паланек опять явился в канцелярию. Сквозь приотворенную дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейка.

— Что еще там?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант,— таинственно зашептал унтер Паланек,— у него нет денег на дорогу, и у меня тоже нет. А даром его везти не хотят, потому что у него нет удостоверения в том, что он едет в полк.

Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса.

— Пусть идет пешком,— решил он,— пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним возжаться.

— Ничего, брат, не поделаешь,— сказал Паланек Швейку, выйдя из канцелярии.— Хочешь не хочешь, а придется, братишка, тебе в Будейовице пешком переть. Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы ее дадим тебе на дорогу.

Через полчаса, после того как Швейка напоили черным кофе и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, еще и

¹ Марш!

осьмушку табаку, он вышел темной ночью из Табора, напевая старую солдатскую песню:

Шли мы прямо в Яромерь,
Коль не хочешь, так не верь.

Черт его знает как это случилось, но brave солдат Швейк, вместо того чтобы идти на юг, к Будейовицам, шел прямехонько на запад.

Он шел по занесенному снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел:

Я пойду пройтиться
В зеленую рощу...

И в занесенных снегом темных лесах далеко разносилось эхо так, что в деревьях лаяли собаки.

Когда Швейку надоело петь, он сел на кучу щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошел дальше, навстречу новым приключениям будейовицкого анабасиса *.

ГЛАВА II

БУДЕЙОВИЦКИЙ АНАБАСИС ШВЕЙКА

Ксенофонт, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без усталости продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею,— вот что называется анабасисом.

У кого голова на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей,— тот совершает в походе прямо чудеса.

Римские легионы Цезаря, забравшись (опять-таки без всяких географических карт) далеко на север, к Галльскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытать счастья, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим.

Точно так же все дороги ведут и в Чешские Будейовице. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будейовицких краев увидел милевскую деревушку. И, не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать bravому солдату добраться до Чешских Будейовиц.

Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от Милевска. Он ис-

черпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала:

Когда в поход мы отправлялись,
Слезами девки заливались...

По дороге из Кветова во Враж, которая идет все время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой:

— Добрый день, служивый. Куда путь держите?

— Иду я, матушка, в полк, в Будейовице, на войну эту самую.

— Батюшки, да вы не туда идете, солдатик! — испугалась бабушка. — Вам этак туда ни в жисть не попасть. Дорога-то ведет через Враж прямехонько на Клатовы.

— Я полагаю — человек с головой и из Клатов попадет в Будейовице, — почтительно ответил Швейк. — Правда, прогулка не маленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности.

— Был у нас тоже один такой озорной, — вздохнула бабушка. — Звали его Тоничек Машек. Вышло ему ехать в Пльзень в ополчение. Племяннице он моей сродни. Да... Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас. В простой одежде, невоенной. «В отпуск, дескать, приехал». Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули... Уж и письмоцо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет.

Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка.

— В том вон лесочке пока, служивый, посидите, я картофельную похлебку принесу, погреешься. Избу-то нашу отсюда видать, аккуратно за лесочком, направо. Через нашу деревню лучше не ходите, жандармы у нас все равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Мальчин. Чижово, солдатик, обойдите стороной — жандармы там живодеры: дезертиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец у Гораждёвиц. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть?

— Нету, матушка.

— Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру, жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом * домик, снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будейовице.

Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыла. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в Будейовицах два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть; наконец, вынула из кармана кофты крону и дала ее Швейку, чтобы он купил себе в Мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышля кусок изрядный.

По совету старухи Швейк пошел, минуя Чижово, в Радомышль, на восток, решив, что должен попасть в Будейовице с какой угодно стороны света.

Из Мальчина попутчиком у него оказался старик гармонист. Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку, перед тем как отправиться в далекий путь на Радомышль.

Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Гораждёвице: там у него живет дочка, у которой муж тоже дезертир.

Гармонист, по всей видимости, в Мальчине хватил лишнего.

— Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет и тебя спрячет тоже,—уговаривал он Швейка.— Просидите там до конца войны. Вдвоем не скучно будет.

Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошел налево, полями, пригрозив Швейку, что идет в Чижово доносить на него жандармам.

Вечером Швейк пришел в Радомышль. На Нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления.

Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю.

— Удирают с военной службы. Воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит — стащат, — выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. — И каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет... Правда глаза колет, — прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет...

— Будь здоров, дедушка...

— Будь здоров! Ищите кого поглупее...

И Швейк уже шагал где-то во тьме, а дед все не переставал ворчать:

— Идет, дескать, в Будейовице, в полк. Это из Табора-то! А сам, шаромыжник, сперва в Граждёвице, а оттуда только в Писек. Да ведь это кругосветное путешествие!

Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле стог. Он отгроб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос:

— Какого полка? Куда бог несет?

— Девяносто первого, иду в Будейовице.

— А чего ты там не видал?

— У меня там обер-лейтенант.

Было слышно, что рядом засмеялись, и не один человек, а трое.

Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое Тридцать пятого, а один, артиллерист, тоже из Будейовиц. Ребята из Тридцать пятого удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт, около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизации. Сам он был крестьянин из Путима, и стог принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе.

Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из Тридцать пятого

тронутся в путь на Страконице, у одного из них там тет-ка, а у тетки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого — лесопилка, где можно спрятаться.

— Эй ты, из Девяносто первого, если хочешь, идем с нами, — предложили они Швейку. — На... ты на своего обер-лейтенанта.

— Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому.

Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то (очевидно, артиллерист) положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу.

Швейк пошел лесами. Недалеко от Штечна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как старого приятеля глотком водки.

— В этой одежде не ходи. Как бы тебя твоя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят, теперь взяли за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о Девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику?

— Куда теперь метишь? — спросил бродяга немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, оглядели деревню.

— В Будейовице.

— Царица небесная! — испугался нищий. — Да тебя там в один момент сгребут. И дыхнуть не успеешь. Штатскую одежду тебе надо, да порванее. Придется тебе сделаться хромым... Ну да не бойся: пойдём через Страконице, Волян и Дуб, и никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страконицах много еще честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать — вот тебе и штатская одежда. Да много ли тебе нужно? Сапоги есть... Так, что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая?

— Старая.

— Ну, ее можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно еще штаны да пиджачишко. Когда раздобудем штатскую одежду, твои штаны и гимнастерку мож-

но будет продать еврею Герману в Воднянах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням... Сегодня пойдем в Страконице. Отсюда часа четыре ходу до старой шварценбергской овчарни,— развивал он свой план.— Там у меня пастух знакомый — старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконице и свистнем где-нибудь штатское.

В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги и поэтому называл его, как и Швейка, «паренек».

— Так-то, ребята,— стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире.— В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в Воднянах его поймали да так высекли, что с задницы только клочья летели. Ему еще повезло. А вот сын Яреша, дед старого Яреша, сторожа рыбного садка из Ражиц, что около Противина, был расстрелян в Писеке за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку.

— После мобилизации, когда нас отвели в казармы,— ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя.

— Перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно вспоминая рассказ своего деда, как тот лазил через казарменные стены.

— Иначе нельзя было, дедушка.

— Стража была сильная? И стреляла, небось?

— Стреляла, дедушка.

— А куда теперь направляешься?

— Вот с ума спятил! Тянет его в Будейовице, и все тут,— ответил за Швейка бродяга.— Ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон. Придется мне его взять в учение. Свистнем какую ни на есть одежонку, а там все пойдет как по маслу! До весны как-нибудь проштатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут. Голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше

пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет. Перебьют всех.

— Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И поделом: господь бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее, вишь ли, не хотели жрать! Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину да птицу, да все на масле да на сале. Вот бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как в наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары — так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь, сопляк, все кругом своим автомобилем провонял. Погоди, господь бог уже намажет тебе харю бензином.

В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрек:

— А войну эту не выиграет наш государь император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался *, как говорит учитель из Стракониц. Пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово!

— Может быть, он это теперь как-нибудь обстригает, — заметил бродяга.

— Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать, — разгорячился пастух, — посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу, в Скочицах. У любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят! После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имена. Тамошнего Коржинку за такие речи уже сгребли жандармы: не подстрекай, дескать. Да что там! Нынче жандармы что хотят, то и делают.

— Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, в Кладно служил жандармский ротмистр Роттер. Загорелось ему разводиться этих, как их там, полицейских собак, волчьей породы, которые все вам могут выследить, когда их обучат. И развел он этих самых собачьих воспи-

танников полну задницу. Специально для собак выстроил домик; жили они там, что графские дети. Да, и придумал ротмистр обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладненской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из Лан наутек, забираю поглубже лесом, да куда там! До рощи, куда метил, не дошел, как уж меня сграбастали и повели к господину ротмистру. Родненькие мои! Вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками! Сначала дали меня этим собакам обнюхать, потом велели мне влезть по лесенке и, когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу, а она — бестия! — доставила меня с лестницы наземь, а потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался, куда хочу. Направился я к долине Качака в лес и спрятался в овраге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю, а пока один держал меня за горло, другой побежал в Кладно. Через час пришел сам пан ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятерку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Черта с два! Я пустился прямо к Берову району, словно у меня под ногами горело, и больше в Кладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты... Чертовски любил он этих собак! По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит где волкодава, то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку.

И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали.

— В Липнице* жандармский вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине. На вывески-то не смотришь. Дом за домом, так идешь. Наконец в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о

себе: «Подайте Христа ради убогому страннику...» Светы мои! Ноги у меня отнялись: гляжу — жандармский участок! Вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры, государь император над столом прямо на меня уставился. Я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне да ка-ак даст по морде! Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых Кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права!

Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать.

Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будейовице!»

Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были Водняны. Швейк ловко обошел его стороной, лугами, и первые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалеку от Противина.

— Вперед! — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. — Долг зовет. Я должен попасть в Будейовице.

Но по несчастной случайности, вместо того чтобы идти от Противина на юг — к Будейовицам, стопы Швейка направились на север — к Писеку.

К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал: «Так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к Будейовицам».

Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись: «Село Путим».

— Вот-те на! — вздохнул Швейк. — Опять Путим! Ведь я здесь в стогу ночевал.

Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из окрашенного в белый цвет домика, на котором красовалась «курица» (так называли кое-где государственного орла), вышел жандарм — словно паук, проверяющий свою паутину.

Жандарм вплотную подошел к Швейку и спросил только:

— Куда?

— В Будейовице, в свой полк.

Жандарм саркастически усмехнулся.

— Ведь вы идете из Будейовиц! Будейовице-то ваши позади вас остались.

И потащил Швейка в жандармское отделение.

Путимский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрестному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрестный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала.

— Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым,— говаривал своим подчиненным вахмистр.— Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов.

— Добро пожаловать, солдатик,— приветствовал жандармский вахмистр Швейка.— Присаживайтесь, с дороги-то устали небось. Расскажите, куда путь держите?

Швейк повторил, что идет в Чешские Будейовице, в свой полк.

— Вы, очевидно, сбились с пути,— улыбаясь, заметил вахмистр.— Дело в том, что вы идете из Чешских Будейовиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните: на юг от нас лежит Противин, южнее Противина — Глубокое, а еще южнее — Чешские Будейовице. Стало быть, вы идете не в Будейовице, а из Будейовиц.

Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил:

— А все-таки я иду в Будейовице.

Это прозвучало сильнее, чем «а все-таки она вертится!», потому что Галилей, без сомнения, произнес свою фразу в состоянии сильной запальчивости.

— Знаете что, солдатик! — все так же ласково сказал Швейку вахмистр.— Должен вас предупредить — да вы и сами в конце концов придете к этому заключению,— что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание.

— Вы безусловно правы,— сказал Швейк.— Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание— и наоборот.

— Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились в ваши Будейовице. Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют еще какие-то Будейовице, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту.

— Я вышел из Табора.

— А что вы делали в Таборе?

— Ждал поезда на Будейовице.

— Почему вы не поехали в Будейовице поездом?

— Потому что у меня не было билета.

— А почему вам как солдату не выдали бесплатный воинский проездной билет?

— Потому что при мне не было никаких документов.

— Ага, вот оно что! — победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. — Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы.

Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов:

— Итак, вы вышли из Табора. Куда же вы шли?

— В Чешские Будейовице.

Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту.

— Можете показать нам на карте, как вы шли в Будейовице?

— Я всех мест не помню. Помню только, что в Путиме я уже был один раз.

Жандармы выразительно переглянулись.

Вахмистр продолжал допрос:

— Значит, вы были на вокзале в Таборе? Что у вас в карманах? Выньте все.

После того как Швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистр спросил:

— Скажите, почему у вас ничего, решительно ничего нет?

— Потому что мне ничего и не нужно.

— Ах ты господи! — вздохнул вахмистр. — Ну и мука с вами!.. Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь делали тогда?

— Я шел мимо Путима в Будейовице.

— Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будейовице, между тем как мы вам доказали, что вы идете из Будейовиц.

— Наверно, я сделал круг.

Вахмистр и все жандармы обменялись многозначительными взглядами.

— Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?

— До отхода последнего поезда на Будейовице.

— А что вы там делали?

— Разговаривал с солдатами.

Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих.

— А о чем вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали? Так, к примеру...

— Спрашивал, какого полка и куда едут.

— Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?

— Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю.

— Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?

— Конечно, господин вахмистр.

Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов.

— Вы говорите по-русски?

— Не говорю.

Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и, когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки:

— Ну, слышали? Он не говорит по-русски! Парень, видно, прошел огонь и воды и медные трубы. Во всем сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в Писек. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать! На вид дурак дураком. С такими-то типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол.

И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой

фразе которого красовалось словечко «spionageverdächtig»¹.

Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами: «So melde ich gehorsam wird den feindlichen Offizier heutigen Tages, nach Bezirks-gendarmeriekommando Pisek, überliefert»²,— он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейтора.

— Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?

— Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до двенадцати часов дня.

— Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, — веско сказал вахмистр. — Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир «У кота» за обедом для него. А если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом и все пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает?

— Просил табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, говорит, очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит ее под вечер,— упаси бог, если солнышко сгоит над трубой.

— Тонкая штучка!— в полном восторге воскликнул вахмистр.— Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идет на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же? Небось, каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно: «У вас тут тепло, и печка не дымит...» Вот это, господин

¹ Подозревается в шпионаже (нем.).

² Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писек (нем.).

ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами!.. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен, вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей, всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью «За храбрость».— И вахмистр с серьезным видом прибавил:— Да, это я понимаю! Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это героичество! Ну, заговорились мы тут с вами, бегите закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне.

Ефрейтор привел Швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители.

— Нету.

«Тем лучше,— подумал вахмистр,— по крайней мере некому будет беднягу оплакивать». Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом теплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном:

— Ну, а как вам нравится у нас в Чехии?

— Мне в Чехии всюду нравится,— ответил Швейк,— мне всюду попадались славные люди.

Вахмистр кивал головой в знак согласия.

— Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счет не идут. Я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчету тут приходится по три четверти убийства на год.

— Что же, не совсем убивают? Не приканчивают?— спросил Швейк.

— Нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств: пять с целью грабежа, а остальные шесть просто так... ерунда.

Вахмистр помолчал, а затем опять перешел к своей системе допроса.

— А что вы намерены были делать в Будейовицах?

— Приступить к исполнению своих обязанностей в Девяносто первом полку.

Вахмистр отослал Швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в Писецкое окружное жандармское управление: «Владеет чешским языком в совершенстве. Намеревался в Будейовицах проникнуть в Девяносто первый пехотный полк».

Он радостно потер руки. Вахмистр был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чем его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом: «Согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство». И это называется допрос?

Вахмистр самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр Главного пражского жандармского управления с обычной надписью «совершенно секретно» и перечел его еще раз:

«Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников русской академии Генерального штаба, которые, в совершенстве владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского на-

селения. Ввиду этого Главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повисить бдительность особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции».

Жандармский вахмистр Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «*Секретные распоряжения*».

Таких распоряжений было много. Их составляло министерство внутренних дел совместно с министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В Главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать.

В папке были:

приказ о наблюдении за настроениями местных жителей;

наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий;

анкета: как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований;

анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными;

анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции;

распоряжение: безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население; насколько сильны отдельные политические партии;

приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население;

анкета: какие газеты, журналы и брошюры получают в районе данного жандармского отделения;

инструкция: как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чем их нелояльность проявляется;

инструкция: как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей;

инструкция для платных осведомителей из местного

населения, зачисленных на службу при жандармском отделе.

Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения.

Утопая в массе этих изобретений австрийского министерства внутренних дел, вахмистр Фландерка имел огромное количество «хвостов» и на анкеты посылал стереотипные ответы: у него все в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени Ia.

Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел избрало следующую лестницу категорий:

Ia	Ib	Ic
IIa	IIb	IIc
IIIa	IIIb	IIIc
IVa	IVb	IVc

Римская четверка в соединении с «а» обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с «b» — концентрационный лагерь, а с «с» — необходимость выследить и посадить.

В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин.

Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо прибывавшей с каждой почтой. Как только заведит, бывало, знакомый пакет со штампом «свободно от оплаты», «служебное», у него начинается сердцебиение. Ночью после долгих размышлений он приходил к убеждению, что ему не дожидаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума и ему не придется порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков.

А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами: почему до сих пор не отвеча-

но на анкету за № $\frac{72345}{721a/f}$ d, как выполняется инструк-

ция за № $\frac{88992}{822 gfeh}$ z, каковы практические результаты на-

ставления за № $\frac{123456}{1292b/r}$ v и т. д.

Больше всего хлопот доставила ему инструкция о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается Блата, потому что там весь народ меднолобый, он наконец решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозвищу Пепка-Прыгни. Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услышав свою кличку, несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека, за несколько золотых в год и за жалкие харчи пасший деревенское стадо.

Вахмистр велел его призвать и сказал ему:

— Знаешь, Пепка, кто такой «старик Прогулкин»? *

— Ме-ме...

— Не мычи. Запомни: так называют государя императора. Знаешь, кто такой государь император?

— Это — гоцудаль импелатол...

— Молодец, Пепка. Так запомни: если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь император — скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приходи ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проигрываем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, — плохо тебе придется. Заберу и отправлю в Писек. А теперь, ну-ка, прыгни!

Пепка подпрыгнул, а вахмистр дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя.

На следующий день к вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку-Прыгни и тот ему сказал: «Батюска, вчела пан вахмистл говолил, что гоцудаль импелатол — скотина, а войну мы плоиграем. Ме-е... Гоп!».

После дальнейшего разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее градчанский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении

его величества и в целом ряде других преступлений и проступков.

Пепка-Прыгни на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы бляял козой, а после вынесения приговора крикнул: «Me-e!.. Гоп!» — и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жесткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду.

С тех пор у вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на пятьдесят крон, которые он пропивал в трактире «У кота». После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: «Что-то нынче наш вахмистр невеселый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил: «Видать, наши в Сербии опять обделались — вахмистр сегодня больно молчаливый».

А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет:

«Настроение среди населения — Ia...»

Часто в ожидании ревизии и расследований вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля, вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у виселицы: «Wachmeister, wo ist die Antwort des Zirkulärs¹ за № $\frac{1789678}{23792}$ х. у. з. ?»

Но теперь... Теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несется старое охотничье пожелание «ни пуха ни пера». И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет: «Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister»².

Жандармский вахмистр рисовал в своем воображении картины одну пленительней другой. В извилинах его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия,

¹ Вахмистр! А где ответ на циркуляр..? (нем.)

² Поздравляю вас, господин вахмистр (нем.).

повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую карьеру.

Вахмистр вызвал ефрейтора и спросил его:

— Обед раздобыли?

— Принесли ему копченой свинины с капустой и кнедликом. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще.

— Дать! — великодушно разрешил вахмистр. — Когда напьется чаю, приведите его ко мне.

Через полчаса ефрейтор привел Швейка, сытого и, как всегда, довольного.

— Ну как? Понравился вам обед? — спросил вахмистр.

— Обед сносный, господин вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть, домашнего копчения, от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой.

Вахмистр посмотрел на Швейка и начал:

— Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть?

— Ром во всем мире есть, господин вахмистр.

«Начинает выкручиваться, — подумал вахмистр. — Раньше нужно было думать, что говоришь!» И, интимно наклонясь к Швейку, спросил:

— А девочки хорошенькие в России есть?

— Хорошенькие девочки во всем мире имеются, господин вахмистр.

«Ишь ты какой, — снова подумал вахмистр. — Небось, решил вывернуться!» — и выпалил, как из сорокадвухсантиметровки:

— Что вы намеревались делать в Девяносто первом полку?

— Идти с полком на фронт.

Вахмистр с удовлетворением посмотрел на Швейка и подумал: «Правильно! Самый лучший способ попасть в Россию».

— Задумано великолепно! — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на Швейка, но не прочел в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия.

«И глазом не моргнет,— ужаснулся в глубине души вахмистр.— Ну и выдержка у них! Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили».

— Утром мы отвезем вас в Писек,— проронил он как бы невзначай.— Вы были когда-нибудь в Писеке?

— В тысяча девятьсот десятом году на императорских маневрах.

На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошел самого себя.

— Вы оставались там до конца маневров?

— Ясное дело, господин вахмистр. Я был в пехоте.

Швейк продолжал смотреть на вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать все в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвести Швейка, а сам приписал в своем рапорте:

«План его был таков: проникнув в ряды Девяносто первого пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт; там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путем благодаря бдительности наших органов невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путем продолжительного перекрестного допроса, он еще в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских маневрах в окрестностях Писека, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрестного допроса».

В дверях появился ефрейтор.

— Господин вахмистр! Он просится в нужник.

— *Vajonett auf!*¹— скомандовал вахмистр.— Или нет, приведите его сюда.

— Вам нужно в уборную? — любезно спросил Швейка вахмистр.— Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?

— Совершенно верно. Мне нужно «по-большому», господин вахмистр,— ответил Швейк.

¹ Примкнуть штык! (нем.)

— Смотрите, чтобы не случилось чего другого,—многозначительно сказал вахмистр, пристегивая кобуру с револьвером.— Я пойду с вами.

— У меня хороший револьвер,— сообщил он Швейку по дороге,— семизарядный, абсолютно точно бьет в цель.

Однако, раньше чем выйти во двор, вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему:

— Примкните штык и, когда он войдет внутрь, станьте позади уборной. Как бы он не сделал подкопа через выгребную яму.

Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности целые поколения. Теперь тут сидел Швейк и придерживал одной рукой веревочку от двери, между тем как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа.

Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь; вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если Швейк предпримет попытку к бегству.

Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворенный Швейк. Он осведомился у вахмистра:

— Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержали я вас?

— О, нисколько, нисколько,— ответил вахмистр и подумал: «Как они все-таки деликатны, вежливы. Знает ведь, что его ждет, но остается любезным. Надо отдать справедливость—вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать?!»

Вахмистр остался в караульном помещении и сел рядом со Швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные села. В настоящее время он уже сидел в Противине, в трактире «У вороного коня», и играл с сапожником в «марьяж», в перерывах доказывая, что Австрия должна победить.

Вахмистр закурил трубку, дал и Швейку набить трубку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Спустились

зимние сумерки. Наступила ночь, время дружных, задушевных бесед.

Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и наконец обратился к помощнику:

— По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга, за свою, так сказать, родину, заслуживает почетной смерти от пули. Как по-вашему, господин ефрейтор?

— Конечно, лучше расстрелять его, а не вешать,— согласился ефрейтор.— Послали бы, скажем, нас и сказали бы: «Вы должны выяснить, сколько у русских пулеметов в их пулеметном отделении». Что же, мы переоделись бы и пошли. И за это меня вешать, как бандита?

Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил:

— Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями!

— Вот тут-то и закавыка,— сказал Швейк.— Если парень не дурак — попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут.

— Нет, докажут! — загорячился вахмистр.— Ведь они тоже не дураки, и у них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь. Убедитесь,— повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой.— Сколько ни вертись — у нас никакие увертки не помогут. Верно я говорю, господин ефрейтор?

Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет: чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдает.

— У вас моя школа, ефрейтор! — с гордостью провозгласил вахмистр.— Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это *corpus delicti*¹.— И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору: — Что бы такое придумать на ужин?

— А в трактир вы нынче не пойдете, господин вахмистр?

Тут перед вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения.

¹ Состав преступления (лат.).

Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надежный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. (Фактически дело обстояло так: ефрейтору не хотелось тащиться с ними до Писека по морозу, и он отпустил их в поле около Ражиц, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки.)

— Пошлем нашу бабку за ужином. А пиво она нам будет таскать в жбане,— разрешил наконец вахмистр эту сложную проблему.— Пусть бабка побегает — разомнет кости.

И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина сообщение на линии жандармское отделение — трактир «У кота» не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том, что вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире «У кота».

Когда же — в несчетный раз — бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку контушовки*, терпение любопытного трактирщика лопнуло.

— Кто там у них?

— Да подозрительный какой-то,— ответила на его вопрос бабка.— Я сейчас оттуда — сидят с ним оба в обнимку, а господин вахмистр гладит его по голове и приговаривает: «Золотце ты мое, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный!..»

Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину: ефрейтор спал, громко храпя; он растянулся поперек постели, как был — в полной форме; напротив сидел вахмистр с остатками контушовки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею; слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от контушовки. Он бормотал:

— Ну, признайся — в России такой хорошей контушовки не найти. Скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Признайся, будь мужчиной!

— Не найти.

Вахмистр навалился на Швейка:

— Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать?

Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату, бормоча:

— Если б-бы я сразу не поп-пал на п-правильный п-путь, могло бы совсем другое п-получиться.

Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом: «Ich muss noch dazu beizufügen, das die russische Kontuszówka¹ на основании § 56...»

Он сделал кляксу, слизнул ее языком и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мертвым сном.

К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что Швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улегся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила. Бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и Швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала:

— Хоть бы постыдились спать одетым, нешто вы скотина? — А Швейку сделала замечание, чтобы он застегивал штаны, когда перед ним женщина.

Наконец, она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго.

— Ну и в компанию вы попали, — ворчала бабка, обращаясь к Швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит: «Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын — браконьер и господские дрова ворует». Вот и маюсь с ними уже четвертый год. — Бабка

¹ Должен присовокупить, что русская контушовка... (нсм.).

глубоко вздохнула и продолжала ворчать: — Вахмистра берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало. Так и ищет, кого бы сцапать и посадить.

Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро.

Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутным взглядом смотря на ефрейтора:

— Сбежал?!

— Боже сохрани, парень честный.

Ефрейтор зашагал по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать.

Вахмистр неуверенно взглянул на него и наконец, точно желая уяснить, что тот о нем думает, сказал:

— Ладно уж, я вам помогу, господин ефрейтор; вчерта, небось, я опять здорово набуянил?

Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника:

— Если бы вы только знали, господин вахмистр, что за речи вы вчера вели! Чего-чего вы только ему не наговорили! — И, наклонясь к самому уху вахмистра, зашептал: — Что все мы — чехи и русские — одной славянской крови, что Николай Николаевич * на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании все отрицать и плести с пятое на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Еще вы сказали, что очень скоро все лопнет, повторятся гуситские войны, крестьяне пойдут с цепями на Вену, из государя императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет, а император Вильгельм — зверь. Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться, и много еще такого.

Ефрейтор отошел от вахмистра.

— Я все это отлично помню, — прибавил он, — потому что спервоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж, верно, нализался и дальше не помню ничего.

Вахмистр поглядел на ефрейтора.

— А я помню,— сказал он,— как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали: «Да здравствует Россия!»

Ефрейтор нервно зашагал по комнате.

— Вы орали все это, словно вас режут,— сказал вахмистр.— А потом повалились поперек кровати и храпели.

Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил:

— Да и вы тоже, господин вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали: «Бабушка, зарубите себе на носу: любой император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и эта развалина, «старик Прогулкин», которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрунн» *.

— Я это говорил?!

— Да, господин вахмистр, именно это вы говорили, перед тем, как идти на двор блевать, а еще кричали: «Бабушка, суньте мне палец в глотку!»

— А вы тоже прекрасно выразились,— прервал его вахмистр.— Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем?

— Этого я что-то не помню,— нерешительно отозвался ефрейтор.

— Еще бы вы помнили! Пьян был в стельку, и глаза словно у поросенка, а когда вам понадобилось «на двор», вы, вместо того чтобы выйти в дверь, полезли на печку.

Оба замолкли, пока наконец продолжительное молчание не нарушил вахмистр:

— Я всегда вам говорил, что алкоголь — гибель. Пить не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Чем бы мы с вами оправдались? Ах ты господи, как башка трещит! Говорю вам, господин ефрейтор,— продолжал вахмистр,— именно потому, что он не сбежал, мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штука. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны и он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье еще, что такому человеку не поверят, и если мы под присягой скажем, что это выдумка

и наглая ложь, то ему сам бог не поможет, а еще пришьют лишний параграф — и все. В его положении лишний параграф никакой роли не играет... Ох, хоть бы голова так не болела!

Наступила тишина. Через минуту вахмистр приказал позвать бабуку.

— Послушайте, бабушка,— сказал вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо.— Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда.— И на вопросительный взгляд бабки крикнул:— Живо! Что-бы через минуту было здесь!

Затем вахмистр вынул из стола две свечи со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и, когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажег свечи и торжественно произнес:

— Сядьте, бабушка.

Бабка Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра, свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у нее ноги и сложенные на коленях руки.

Вахмистр прошелся раза два мимо нее, потом остановился и торжественно изрек:

— Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот — разведчик, шпион, бабушка!

— Иисус Мария! — воскликнула Пейзлерка.— Пресвятая богородица! Мария Скочицкая!*

— Тихо! Так вот: для того, чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали. Небось, слышали вы, какие странные разговоры мы вели?

— Слышала,— дрожащим голосом пролепетала бабка.

— Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался. И нам это удалось. Мы вытянули из него все. Сцапали голубчика.

Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечах, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабуку Пейзлерку:

— Вы, бабушка, присутствовали при сем, таким образом, посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная, вы о ней и заикнуться никому не смееете. Даже на

смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить.

— Иисус Мария, Иосиф! — заголосила Пейзлерка.— Занесла меня сюда нелегкая!

— Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию, сложите два пальца и подымите руку. Будете сейчас присягать мне. Повторяйте за мной...

Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая:

— Пресвятая богородица! Мария Скочицкая! И за чем только я этот порог переступила!

С креста глядело на нее измученное лицо Христа, свечки коптели, а бабке все это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у нее дрожали, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистр торжественно, с выражением, произнес слова присяги, которые бабка повторяла за ним:

— Клянусь богу всемогущему и вам, господин вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом господь бог!

— Теперь поцелуйте крест,— приказал вахмистр после того, как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась.— Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса.

Ошеломленная Пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.

Вахмистр между тем переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту, словно мармелад.

Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его:

— Умеете фотографировать?

— Умею.

— А почему не носите с собой аппарата?

— Потому что его у меня нет,— чистосердечно признался Швейк.

— А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали? — спросил вахмистр.

— Если бы да кабы, то во рту росли бобы,— просто душно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра.

У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как:

— Трудно ли фотографировать вокзалы?

— Легче, чем что другое,— ответил Швейк.— Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht № 2172 melde ich...»¹. В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:

«При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений; это подтверждается и его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат...»

С похмелья вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал:

«Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было».

¹ В дополнение к моему сообщению № 2172 докладываю... (нем.).

Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору.

— Недурно получилось,— сказал он.— Видите, вот как составляются доклады. Здесь все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное—умело изложить все в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить.

— Итак, господин ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление в Писек,— важно сказал вахмистр Швейку.— Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству.— Вахмистр, видно, тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: — И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам мое донесение.

— Счастливо оставаться,— мягко сказал Швейк.— Спасибо вам, господин вахмистр, за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости.

Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свел случай, и теперь они вместе идут в город, скажем, в костел.

— Никогда не думал,— говорил Швейк,— что дорога в Будейовице окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылисы. Очутился он раз у памятника Палацкому* на Морани и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стене этой ни конца ни краю. Он пришел в отчаяние. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «караул!», а когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылисы, потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколотил.

Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «На кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять

арапа насчет Будейовиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу.

— Здесь одни браконьеры,— ответил ефрейтор.— Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает — у них в штанах жесьть.

И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников.

— И так на свете слишком много народу,— произнес он глубокомысленно.— Всем стало тесно, людей развелось до черта!

Они подходили к постоялому двору.

— Сегодня чертовски метет,— сказал ефрейтор.— Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в Писек. Это государственная тайна.

Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения «изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения».

— Не вздумайте проговориться, что вы за птица,— сказал он.— Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет — и пойдет по всей округе! Понимаете?

— Я панику устраивать не буду,— сказал Швейк и действительно держал себя соответственно с этим заявлением.

Когда хозяин постоялого двора разговорился с ними, Швейк проронил:

— Вот брат говорит, что за час мы дойдем до Писека.

— Так, значит, ваш брат в отпуску? — спросил любопытный хозяин у ефрейтора.

Тот, не сморгнув, ответил:

— Сегодня у него отпуск кончается.

Когда трактирщик отошел в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал:

— Ловко мы его обработали! Главное, не поднимать паники — время военное.

Перед входом на постоянный двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трех часов начальник окружного жандармского управления обедает и бесполезно приходит туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут в Писек в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До шести времени хватит. Придется идти в темноте, по погоде видно. Разницы никакой: сейчас ли идти или попозже — Писек никуда от них не убежит.

— Хорошо, что сидим в тепле, — заключил он. — Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь, у печки.

От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоянного двора, распивая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика.

Ефрейтор все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоянного двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в «железку», и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ:

— Э-это ты брось! Без паники! На этот счет у нас есть инструкция. — И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений.

При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоянного двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственно, что он мог прояснить, — это что инструкциями войны не выиграешь.

Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писек. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял:

— Жми все время прямо до самого Писека.

Когда он произнес это в третий раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех: «Как с ледяной горы». Через минуту его снова не было слышно: он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра:

— Упаду, паника!

Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись наконец к Швейку, уныло произнес:

— Я бы мог вас легко потерять.

— Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор,— успокоил его Швейк.— Самое лучшее, что мы можем сделать,— это привязать себя один к другому, тогда мы не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?

— Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы,— веско ответил ефрейтор, ковыляя около Швейка.— Это хлеб наш насущный.

— Так давайте пристегнемся,—предложил Швейк,— попытка не пытка.

Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. Наконец ефрейтор сказал, что так дальше не пойдет и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов ефрейтор вздохнул:

— Мы связаны друг с другом на веки веков.

— Аминь,— прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь.

Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до

Писека. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удрученно сказал Швейку:

— Плохо дело — нам друг от друга не избавиться.

И действительно, дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кенигом. Первое, что сказал ротмистр, было:

— Дыхните. Теперь понятно.

Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию.

— Ага! Ром, контушовка, «черт» *, рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная. Господин вахмистр, — обратился он к своему подчиненному, — вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному и прийти вдребезги пьяным! Влезть сюда в таком скотском виде! Снимите с них кандалы!

Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек.

— Что еще? — спросил его ротмистр.

— Осмелюсь доложить, господин ротмистр, принес донесение.

— О вас пойдет донесение в суд, — коротко бросил ротмистр. — Господин вахмистр, посадить обоих! Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру.

Писецкий ротмистр Кениг был типичным чиновником: строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей.

В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: «Ну, слава богу, пронесло тучу!» Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистра Кенига. С утра до вечера ротмистр строчил выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе.

С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи нависли тяжелые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание.

— Если мы хотим победить,— говорил ротмистр Кениг во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям,— всегда нужно ставить точку над «i»: «а» должно быть «а», «б» — «б».

Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округа водятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе.

А сверху, из министерства внутренних дел, его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю.

Кенига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт,— и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укукошить себя во славу государя императора.

Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались Двадцать восьмой и Одиннадцатый полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через писецкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьих вагонах писецкие дамы.

В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия: «Heil! Nieder mit den Serben!»¹ Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице.

А в то время как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, боже, государя!» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы à la Путим о том, что все в полном порядке, никакой

¹ Хайль! Долой сербов! (нем.)

агитации против войны не ведется, настроение населения Ia, а воодушевление — Ia — b.

— Не жандармы, а городовые! — ругался ротмистр во время своих объездов.— Вместо того чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов.— Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: — Валяетесь дома на печке и думаете: «Mit ganzem Krieg kann man uns Arsch lecken!»¹

Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы.

Ротмистр был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает и что все жандармы подвластных ему отделений лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию.

Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления, да и тот всегда в трактире делал замечания вроде: «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана».

*

Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о Швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесением ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в «шнопс».

— На днях я вам говорил, Матейка,— сказал ротмистр,— что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путимский вахмистр

¹ Со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу! (нсм.)

перещеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын пропойца-ефрейтор,— помните, они были привязаны друг к другу, как собаки,— вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения, просто он самый что ни на есть обыкновенный дезертир. Вахмистр в своем донесении порет несусветную чушь; ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский пре-лат. Немедленно приведите этого солдата,— приказал он, просматривая донесение из Путима.— Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того: он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо меня эта публика знает! А я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя веревки вить позволяю!

Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и по тому, как составляют донесения, видно, что каждый вахмистр превращает все в шутку и старается только запутать дело.

Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путим, чтобы вахмистр явился завтра в Писек. Он выбьет ему из башки это «событие огромной важности», о котором тот пишет в своем донесении.

— Из какого полка вы дезертировали? — встретил ротмистр Швейка.

— Ни из какого полка.

Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности.

— Где вы достали обмундирование? — спросил ротмистр.

— Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование,— спокойно улыбаясь, ответил Швейк.— Я служу в Девяносто первом полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот.

Это слово «наоборот» он произнес с таким ударением,

что ротмистр, изобразив на своем лице ироническое страдание, спросил:

— Как это «наоборот»?

— Дело очень простое,— объяснил Швейк.— Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от Чешских Будейовиц. Только подумать, целый полк меня ждет! Путимский вахмистр показал на карте, что Будейовице лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север.

Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря: «Он и почище еще номера выкидывает, а не только отправляет людей на север».

— Значит, вы не можете найти свой полк? — сказал он.— Вы его искали?

Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал Табор и все места, через которые он шел в Будейовице: Милевско — Кветов — Врж — Мальчин — Чижова — Седлец — Гораждёвице — Радомышь — Путим — Штекно — Страконице — Вольтинь — Дуб — Водняны — Противин и опять Путим. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему Девяносто первому полку в Будейовице и как все его усилия оказались тщетными.

Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого храбрый солдат Швейк не мог вырваться в поисках своего полка.

— Что и говорить, геркулесова работа,— сказал наконец ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк.— Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима!

— Все бы уже было ясно,— заметил Швейк,— не будь этого господина вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка, и все представлялось ему как-то шиворот-навыворот. Ему бы нужно отправить меня в Будейовице, а там бы в ка-

зармах ему сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять воинские обязанности.

— Почему же вы в Путиме не сказали, что произошло недоразумение?

— Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. Бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк. Старый Рампа-трактирщик на Виноградах говаривал, когда у него просили займы, что порой человек становится глух, как чурбан.

После недолгого размышления ротмистр пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие,— ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке нижеследующее:

*В штаб Девяносто первого императорского
и королевского полка в Чешских Будейовицах*

Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счет за довольствование вышеназванного, который соблаговолите перевести на счет министерства внутренних дел с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. I посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания, принятие коего следует подтвердить.

Время путешествия от Писека до Будейовиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал со Швейка глаз и отчаянно боялся, как

бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма: «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу?»

Вопрос был разрешен так: в случае нужды взять Швейка с собой.

Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Будейовицах жандарм не спускал со Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или к перекрестку, как бы между прочим заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов; в ответ на это Швейк высказывал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы, во избежание всевозможных несчастий.

Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм.

Дежурство по казармам уже второй день нес поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут,— торжественно произнес Швейк, взяв под козырек.

Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек, повторил еще раз:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут.

Бледный как мел поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии.

Так кончился будейовицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что, если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошел бы до Будейовиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах.

Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга.

В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную.

В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный вольноопределяющийся, оставшийся дома из-за насморка, — это чувствовалось по его голосу, — гнусая, зубрил «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей». Четко доносились слова: «Sobald die höchste Herrschaft in der Nähe der Festung anlangt, ist das Geschütz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern, der Platzmajor empfängt dieselbe mit dem Degen in der Hand zu Pferde, und reitet sodann vor»¹.

— Заткнитесь вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели.

Было слышно, как усердный вольноопределяющийся удаляется и как с конца коридора, словно эхо, раздастся его гнусавый голос: «In dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abfeuern des Geschützes zu wiederholen, welches bei dem Absteigen der höchsten Herrschaft zum drittenmale zu geschehen hat»².

А поручик и Швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока наконец первый не сказал тоном, полным злой иронии:

— Добро пожаловать в Чешские Будейовице, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился. Мое терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом

¹ Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед, с саблей наголо, чтобы принять их (нем.).

² В момент, когда комендант отдает саблю честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости (нем.).

с таким идиотом...— Поручик зашагал по канцелярии.— Нет, это просто ужасно! Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. Что бы мне за это сделали? Ничего. Меня бы оправдали, понимаете?

— Так точно, господин поручик, вполне понимаю.

— Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее! Вас наконец-то проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу.— Поручик Лукаш потерял руки.— Теперь вам какую!

Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвести Швейка к профосу * и передать последнему записку.

Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой и надписью «Regimentsarrest»¹, как Швейк исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один.

«Слава богу,— подумал поручик.— Наконец-то он там!»

В темной тюрьме Мариинских казарм Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матраце толстый вольноопределяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольноопределяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику, собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так: артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольноопределяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольноопределяющегося Франтишека Матерну.

— Точь-в-точь такой же заморыш,— рассказывал он Швейку.— Ну, я это потихоньку подкрался сзади, сшиб с него фуражку и говорю: «Здорово, Франта!» А этот идиотина как начал свистеть! Ну, патруль и отвел меня. Возможно,— предположил вольноопределяющийся,—

¹ Полковая гауптвахта (нем.).

ему при этом раза два и попало по шее, но, по-моему, это дела не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признает, что я сказал: «Здорово, Франта!» — а его зовут Антоном. Дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из госпиталя, а если вскроется дело с «книгой больных»...

— Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будейовицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого: так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу и, когда меня утром будили домашние, ноги у меня были теплые, словно я лежал в теплых туфлях. Хоть бы ангину схватить! Нет, ни черта не получалось! Да что там: ерундовый триппер и то не мог поймать! Каждый божий день я ходил в «Порт-Артур», кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски, брат, не везет! Наконец познакомился я «У розы» с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру, и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошел. Не подвел, золотая душа! Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь — и дело было в шляпе! Потом счастье еще раз улыбнулось мне: в Будейовице, в госпиталь, был переведен мой родственник, доктор Масак из Жижкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы, да сам испортил себе всю музыку этим несчастным «Krankenbuch'ом»¹. Штуку я придумал знаменитую: раздобыл себе большую конторскую книгу, налепил на нее наклейку и вывел: «Krankenbuch des 91. Reg.», рубрики и все прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные

¹ Больничная книга (нем.).

имена, род болезни, температуру. Каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой под мышкой в город. У ворот госпиталя всегда дежурили ополченцы, так что и в этом отношении я был застрахован: покажу им книгу, а они мне под козырек. Обыкновенно я шел к одному знакомому чиновнику из податного управления, переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. В госпиталь, на свою койку, я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, я, бывало, покажу только «Krankenbuch» Девяносто первого полка, больше меня ни о чем не спрашивают. У ворот госпиталя опять, ни слова не говоря, показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки... Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может, пока не произошла роковая ошибка ночью, на площади, под арками. Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. Что слава? Дым. Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат! В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил! Глядишь, я бы уже был *felddienstunfähig*¹. Такая протекция! Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей... Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку.

Свою исповедь вольноопределяющийся закончил торжественно:

— И Карфаген пал, от Ниневии остались одни развалины, дорогой друг, но все же — выше голову! Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, то я сде-

¹ Негоден к несению строевой службы (нем.).

лаю хоть один выстрел. Regimentsraport!¹ Исключение из школы! Да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм! Буду я еще корпеть в школе и сдавать экзамены! Кадет, юнкер, подпоручик, поручик... Начхать мне на них! Offiziersschule! Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgang repetieren müssen!² Вся армия разбита параличом! На каком плече носят винтовку: на левом или на правом? Сколько звездочек у капрала? Evidenzhaltung Militärreservemänner! Himmelherrgott³, курить нечего, товарищ! Хотите, я научу вас плевать в потолок? Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Пиво любите? Могу рекомендовать вам отличную воду, вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в «Мещанскую беседу»*. Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею:

Профос дома? Крепко спит,
Пока враг не налетит.
Тут он встанет ото сна,
Мысль его, как день, ясна;
Против вражьей канонады
Он воздвигнет баррикады,
Пустит в ход скамейку, нару
И затынет, полон жару,
В честь австрийского двора:
«Мы врагу готовим кару,
Императору ура!»

— Видите, товарищ,— продолжал толстяк вольноопределяющийся,— а вы говорите, что в народе уже нет прежнего уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и покурить-то нечего и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой и неделимой родине, которую лупят и в хвост и в гриву. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. Morituri te salutant,

¹ Полковой рапорт! (нем.)

² Военное училище! Занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год! (нем.)

³ Учет состава чинов запасал! Черт побери (нем.).

caesar! — Идущие на смерть, тебя приветствуют, цезарь! А профос — дрянь. Нечего сказать, хорош у нас слуга! Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя, ему, мол, из-за этого будут неприятности. А эти пять крон, говорит, вернет мне, когда будет получка. Да, дружок, нынче никому нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. Обворовать арестанта, а? И этот тип еще распевает себе целый день: «Wo man singt, da leg' dich sicher nieder, böse Leute haben keine Lieder!»¹ Вот негодяй, хулиган, подлец, предатель!

После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился.

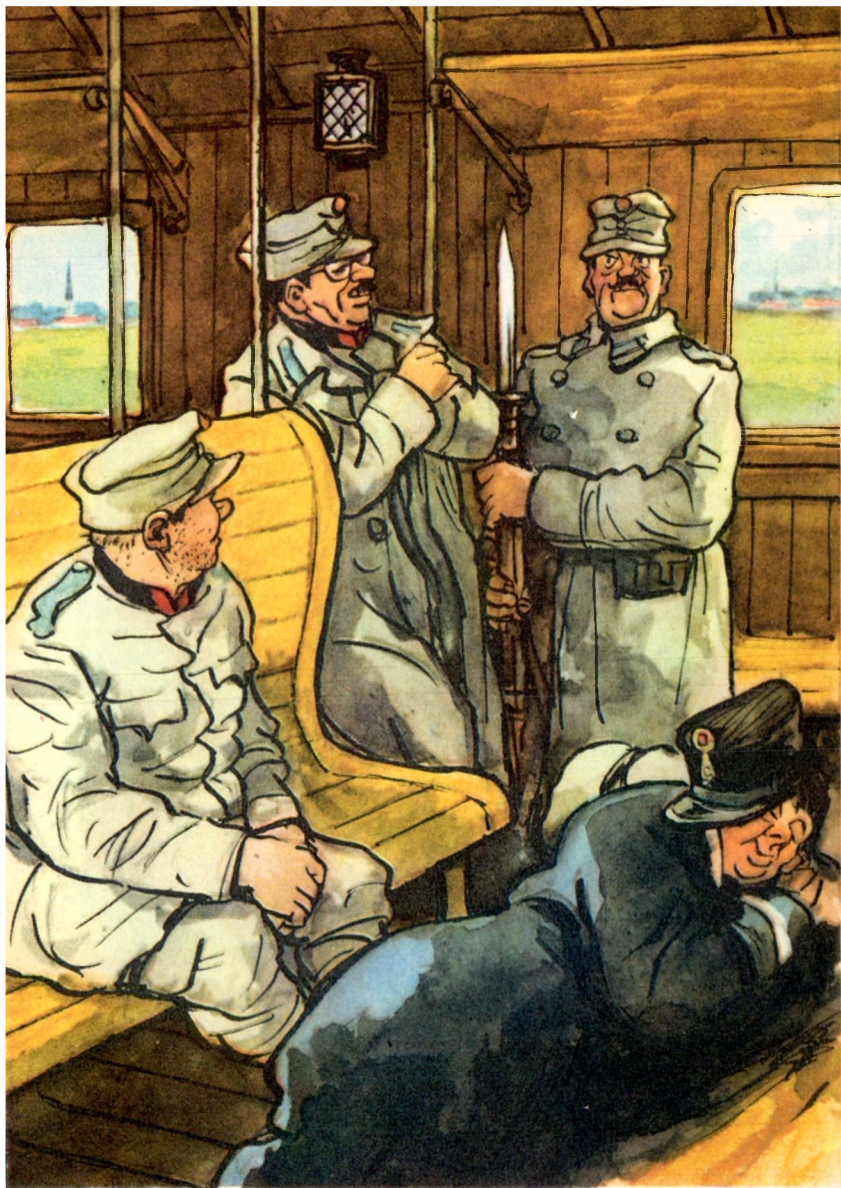
— Искал свой полк? — посочувствовал вольноопределяющийся. — Недурное турне. Табор — Милевско — Кветов — Враж — Мальчин — Чижова — Седлец — Горжидёвице — Радомысль — Путим — Штекно — Страконице — Волянь — Дуб — Водняны — Противин — Путим — Писек — Будейовице... Тернистый путь! И вы завтра на рапорт к полковнику? О милый брат! Мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шредер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи, предупреждения! И плюется при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что раньше, чем он кончит, рухнут стены Мариинских казарм. Я-то его хорошо знаю, был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове, а из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шредер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. «Was machen Sie hier, Sie Zivilist?!»² — заорал он на меня так, что, должно быть, на Шумаве было слышно.

¹ Где поют — ложись и спи спокойно: кто поет, тот человек достойный! (нем.)

² Что вы тут делаете, эй вы, шляпа?! (нем.)



— Гулять с краденными собаками, — господин поручик, никак не сочетается с честью офицера.



*...Да-с, господин капрал, это пахнет не чем иным,
как разжалованием.*

Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольноопределяющийся и пришел на учение. Посмотрели бы вы на него! Ораторствовал целых полчаса и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и поскакал бог знает куда, словно дикий всадник, а потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь; меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на четырнадцать дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цейхгауза и грозил, что спорет мне нашивки.

«Вольноопределяющийся — это нечто возвышенное, эмбрион славы, воинской чести, герой! — орал этот идиот полковник. — Вольноопределяющийся Вольтат, произведенный после экзамена в капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен пятнадцать человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры! Вас также ожидала блестящая будущность: повышения и отличия. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка!» — Вольноопределяющийся сплюнул. — Вот, брат, какие ослы рождаются под луной. Плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются: вольноопределяющийся, вы — скотина. Заметьте, как красиво звучит «вы — скотина», вместо грубого «ты — скотина», а после смерти вас украсят *signum laudis* * или большой серебряной медалью. Его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звездочками и без звездочек! Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое учение и на стрельбище.

Толстый вольноопределяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал:

— Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Такое не может вечно продолжаться. Попробуйте надуть славой поросенка — обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу:

Три тонны удобрения для вражеских полей;
Сорок человечков иль восемь лошадей.

Дверь отворилась, и появился профос, принесший четверть пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды.

Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал профоса следующими словами:

— Как это возвышенно, как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса * Девяносто первого полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадания! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты луч солнца, упавший к нам в темницу!

— На рапорте у полковника у вас пропадет охота шутить,— заворчал профос.

— Ишь как ощетинился, хомяк,— ответил с нар вольноопределяющийся.— Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если б тебе нужно было запереть десять вольноперов? Да не смотри, как балбес, ключарь Мариинских казарм! Запер бы двадцать, а десять бы выпустил, суслик ты этакий! Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба! Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном тебя только прошу: дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою! Фанфарон ты этакий!

Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью.

— Общество взаимопомощи по удалению профосов,— сказал вольноопределяющийся, справедливо деля хлеб на две половины.— Согласно параграфу шестнадцатому дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком, но здесь, как видно, владычествует закон прерий: кто первый сожрет у арестантов паек.

Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб.

— На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба,— возобновил свои рассуждения вольноопределяющийся.— Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Этакий светловолосый херувим,

нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали, но теперь... боже мой! С каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы гсловой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму! И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом.

Он запел:

Она и черта не боялась,
Но тут попался ей солдат...

— Дорогой друг,— продолжал он,— наблюдая все это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. Пушкин писал, что его дядя — такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только

Вдыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя? *

Опять послышалось щелканье ключа в замке, и профос зажег керосиновую лампочку в коридоре.

— Луч света в темном царстве! — крикнул вольноопределяющийся.— Просвещение проникает в ряды армии! Спокойной ночи, господин профос! Кланяйтесь там всем унтерам, желаю вам приятных сновидений. Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне пять крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет и которые вы пропили за мое здоровье. Спи-те сладко, чудище!

Вслед за этим послышалось бормотание профоса насчет завтрашнего полкового рапорта.

— Опять мы одни,— сказал вольноопределяющийся.— На сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днем расширяются зоологические познания унтер-офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны и мыслящее пушечное мясо, необходимо основательное знакомство с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия *, в которой на каждой странице встречаются слова, вроде: скот,

поросята, свиньи. За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных военных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В одиннадцатой роте капрал Альтгоф употребляет выражение «энгадинская коза», ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками», фельдфебель Зондернуммер — «ослиными лягушками» и «йоркширскими боровами» и сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причем проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чучельников. Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как-то: диким ревом, пляской вокруг рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель Зондернуммер заводит речь о «свинской банде», он поспешно прибавляет «die tschechische»¹, чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все унтера одиннадцатой роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали «ein Paar Ohrfeigen»². Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство, но здорово ошибся. Разговор шел всего-навсего о солдатах. «Если, скажем, этакая чешская свинья,— авторитетно поучал капрал Альтгоф ефрейтера Мюллера,— даже после тридцати раз «nieder!»³ не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло — толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать «Kehrt euch!»⁴, а ко-

¹ Чешская (нем.).

² Пара оплеух (нем.)

³ Ложись! (нем.).

⁴ Кругом! (нем.)

гда повернется, наподдать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг». Теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты одиннадцатой роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Дауэрлинг пользуется репутацией людоеда, антропофага из австралийских племен, поедающих людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и, даже наоборот, утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которые он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно поседел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатки. Образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше.

Ученик юнкерского училища Дауэрлинг не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве Дауэрлинг ушиб себе голову. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как «unser Bra-

ver Trottel»¹. Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться — через несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведенных гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в Девяносто первом полку.

Вольноопределяющийся перевел дух и продолжал: — В издании военного министерства вышла книга «Drill oder Erziehung»², из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни, но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под «verschärft»³. Кстати, известно ли вам, что такое строгий арест? Целый день вас гоняют по плацу, а на ночь — в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На ученье Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон; он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит: «Выбирай, слон: в рыло или три дня строгого ареста?» Если солдат выбирает три дня строгого ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения: «Боишься, трус, за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так: «Pah, was für Geschichten mit einem Kerl, muss so wie so krepieren»⁴. То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф: «Die Soldaten müssen so wie so krepieren»⁵.

¹ Наш бравый дурачок (нем.).

² Муштровка или воспитание (нем.).

³ Строгий арест (нем.).

⁴ Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать (нем.).

⁵ Солдатам все равно подыхать (нем.).

Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов; он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на ученье на плац около одиннадцатой роты. После команды: «Вольно!» — Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам.

«Я знаю,— начал он,— что все вы негодяи и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добраться. Наш верховный главнокомандующий* — тоже немец. Слышите? Черт победи, nieder!»

Все легли, а Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования: «Сказано «ложись» — ну и лежи. Хоть лопни в этой грязи, а лежи. «Ложись» — такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена призывались все от семнадцати до шестидесяти лет и целых тридцать лет военной службы проводили в поле. Не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы кто заговорить у них по-этрусски! Господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать! Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем шалтай-болтай. Видите, как хорошо вам в грязи. Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать и он встал. Что бы я тогда сделал? Свернул бы сукину сыну челюсть, так как это является нарушением чинопочитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписаниям, из чего следует, что такого негодяя тоже ждет веревка и *Verwirkung des Anspruchs auf die Achtung der Standesgenossen*¹.

Вольноопределяющийся замолк и, видно, найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни, продолжал:

— Случилось это при капитане Адамичке. Адамичек

¹ Лишение права на уважение равных по положению граждан (нем.).

был человек чрезвычайно апатичный. В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами». На батальонном рапорте бог весть о чем думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из одиннадцатой роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице чешской свиньей. Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства.

«Н-да-с, такие-то дела...— тихо проговорил капитан Адамичек (он всегда говорил очень тихо).— Он сказал это вечером на улице? Следует справиться, было ли вам разрешено уйти из казармы? Abtreten!»¹.

Через некоторое время капитан Адамичек вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено,— сказал он тихо,— что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до десяти часов вечера. Следовательно, наказания вы не понесете... Abtreten!»

С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичком установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Это был просто дьявол что касается национальной травли, и он наконец прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу.

Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи еще капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. (Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски и сыновья его учились в чешских гимназиях.) «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — эпизод этот попал в газеты, а какой-то депутат подал запрос в венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности*, а тут — пожалуйста! — эта история с пьяным капитаном Венцелем из Кутной горы.

Позднее капитан узнал, что вся история — дело рук некоего зауряд-прапорщика из вольноопределяющихся,

¹ Марш! (нем.)

Зитко. Это Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счёты ещё с той поры, когда Зитко в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что «достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте и громящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль: что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы? Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик».

Так как офицеры в это время порядочно нализились, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитко, как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил Зитко где только мог, тем более что изречение прапорщика стало притчей во языцех.

«Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы»,— это знала вся Кутная гора.

«Я его, подлеца, доведу до самоубийства»,— говорил капитан Венцель. Но Зитко вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего.

«Раздавлю его, как клопа!» — любит повторять майор Венцель, и беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлет солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению, например, если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление,— скажем, попробует ночью перелезть через стену Мариинских казарм и уснет наверху, на стене, попадет в лапы артиллеристов, патруля ополченцев,— словом, осрамит честь полка.

Я слышал однажды, как он орал в коридоре: «О господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер; таких нужно выкидывать из полка, пусть отправляется в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не носите ему жрать. Тюфяка не стлать. Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпе этому».

Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал по площади в пролетке с какой-то барышней. В канцелярии поднялся несусветный скандал — унтера рассказывали потом. Старший писарь удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга:

«Чтобы этого больше не было! Himmeldonnerwetter! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не Schweinfest¹. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать, прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьезное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, так как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками!»

С тех пор Дауэрлинг изменился.

Вольноопределяющийся зевнул.

— Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер — стреляный воробей, так же как и Шредер, он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными: их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благо-

¹ Праздник по случаю того, что зарезали свинью (нем.).

родных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя.

— Вообще все в армии уже воняет гнилью,— сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом.— Массы пока еще не проспались. Выпучив глаза они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу; а попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет: «Мамочка»,— и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка! Да здравствует армия! Спокойной ночи!

Вольноопределяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и наконец спросил:

— Вы спите, товарищ?

— Не спится,— ответил Швейк со своей койки,— размышляю...

— О чем же вы размышляете, товарищ?

— О большой серебряной медали «За храбрость», которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских Виноградах по фамилии Мличко; ему первому из полка в самом начале войны сторвало снарядом ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью: хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир «Аполлон» на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с боен. В драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке, а тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная... и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль «За храбрость» и понес ее закладывать в ломбард. Там его сцапали, и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу...

— Как так?

— Очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостойн носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла...

— Вот еще тоже большая потеха,— продолжал Швейк,— когда родные павшего на войне в один пре-

красный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте. На Божетеховой улице на Вышеграде один рассвирепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге.

— Отсюда вытекает,— заметил вольноопределяющийся,— что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали «Памятку вольноопределяющегося», и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение:

В сраженье доброволец пал...
За короля, страну родную
Он отдал душу молодую
И всем другим пример подал.
Везут на пушке труп героя,
Венки и ленты впереди,
И капитанскою рукою
Приколот орден на груди.

— Так как мне кажется, что боевой дух у нас падает,— сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся,— я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух. Но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери.

И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла:

Он пушку заряжал,
Ой, ладо, гей люли!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люли!

Снаряд вдруг пронесло,
Ой, ладо, гей люли!
Башку оторвало,
Ой, ладо, гей люли!

А он все заряжал,
Ой, ладо, гей люли!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люли!

Во дворе раздались шаги и голоса.

— Это профос,— сказал вольноопределяющийся.— А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по «Чешской беседе» *. Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз.

И Швейк с вольноопределяющимся грянули опять:

Он пушку заряжал...

Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул:

— Здесь вам не зверинец!

— Пардон,— ответил вольноопределяющийся,— здесь филиал Рудольфинума *. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны».

— Прекратить! — приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью.— Надеюсь, вы знаете, что в девять часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик,— ответил вольноопределяющийся,— мы не срепетировались как следует, быть может, получается некоторая дисгармония...

— Это он проделывает каждый вечер.— Профос старался подзудить подпоручика против своего врага.— И вообще ведет себя очень некультурно.

— Господин подпоручик,— обратился к Пеликану вольноопределяющийся.— разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью.

Когда профос вышел, вольноопределяющийся по-свойски попросил:

— Ну, гони сигареты, Франта... «Спорт»? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше? Ладно, и на том спасибо. Да! И спички тоже.

— «Спорт»,— сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика.— И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд.

Перед сном вольноопределяющийся не забыл спеть:

Горы, и доли, и скалы высокие — наши друзья,
Ах, дорогая моя...
Нам не вернуть того, что любили мы...

Рекомендуя Швейку полковника Шредера как изверга, вольноопределяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен...

В то время как вольноопределяющийся раздражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции; он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован.

— Ну вот, выскочили из окопов... По всей линии в два километра перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага. Ручные гранаты за поясом, противогазы, винтовки наперевес, готовы и к стрельбе и к штыковому бою. Пули свистят. Вот падает один солдат — как раз в тот момент, когда вылезает из окопа, другой падает на бруствере, третий — сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперед с громовым «ура» в туче дыма и пыли! А неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и строчит из пулеметов. И опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулеметы. Одни падают, но другие уже впереди. Ура!! Падает офицер... Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное... Снова падает целый взвод. Трепещат неприятельские пулеметы: «Тра-тата-тата-та!» Падает... Простите, я дальше не могу, я пьян...

Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, остался сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нес око-лесицу:

— Рассудите сами: у нас под знаменами австрийские уланы-ополченцы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийская пехота, венгерские пешие гонведы, венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны, уланы, артиллерия, обоз, саперы, санитары, флот. Понимаете? А у Бельгии? Первый и второй призыв составляют оперативную часть армии, третий призыв несет службу в тылу...— Капитан Спиро стукнул по столу кулаком:— В мирное время ополчение несет службу в стране!

Один из молодых громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу:

— Туберкулезных я посылаю бы на фронт, это им пойдет на пользу, да и, кроме того,— лучше терять убитыми больных, чем здоровых.

Полковник улыбался. Но вдруг он нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, спросил:

— Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества? С тех пор как приехал, он ни разу не был среди нас.

— Стихи пишет, — насмешливо отозвался капитан Сагнер.— Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре.

Полковник поморщился:

— Говорят, он хорошо поет куплеты.

— Еще в кадетском корпусе всех нас забавлял куплетами,— ответил капитан Сагнер.— А анекдоты рассказывает — одно удовольствие! Не знаю, почему он сюда не ходит.

Полковник сокрушенно покачал головой.

— Нету нынче среди офицеров былого товарищества. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее веселье. Поручик Данкель — служил такой,— так тот, бывало, разденется донага, ляжет на пол, воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку. Другой, подпоручик Шлейснер, умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. Помню еще капитана Скодай. Тот, стоило нам захотеть, приводил с собой трех девочек-сестер. Он их выдрессировал, словно собак. Поставит их

на стол, и они начинают в такт раздеваться. Для этого он носил с собой дирижерскую палочку, и — следует отдать ему должное — дирижер он был прекрасный! Чего только он с ними на кушетке не проделывал! А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с теплой водой, и мы один за другим должны были с этими тремя девочками купаться, а он нас фотографировал.

При одном воспоминании об этом полковник Шредер блаженно улыбнулся.

— Какие пари мы в этой ванне заключали!.. — продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзя в кресле. — А нынче? Разве это развлечение? Куплетист — и тот не появляется. Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют! Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. А в прежние-то времена мы по двое суток сживали и чем больше пили, тем трезвее становились. И лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры... Нынче уж нет настоящего боевого духа. Черт его знает, почему это так! Ни одного остроумного слова, все какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там, в конце стола, говорят об Америке.

На другом конце стола кто-то серьезным тоном говорил:

— Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена.

Полковник Шредер вздохнул.

— Вот она, болтовня офицеров запаса. Нелегкая их принесла! Небось, вчера еще этакий господин строчил бумаги в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товар и торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод, а нынче он хочет быть ровней кадровым офицерам, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос. А кадровые офицеры, как, например, поручик Лукаш, не изволят появляться в нашей компании.

Полковник пошел домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, потому что в газетах, которые он читал, лежа в постели, в сводке с театра военных действий несколько раз наталкивался на фразу: «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный

для австрийской армии период, как две капли воды похожий на дни у Шабациа *.

Под впечатлением прочитанного полковник к десяти часам утра приступил к выполнению функции, которую вольноопределяющийся, по-видимому, правильно назвал Страшным судом.

Швейк и вольноопределяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе: фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды — полковой рапорт.

Наконец в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог.

Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошелся мимо Швейка и вольноопределяющегося, которые делали «равнение направо» и «равнение налево», смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец полковник остановился перед вольноопределяющимся.

Тот отрапортовал:

— Вольноопределяющийся...

— Знаю,— сухо сказал полковник,— выродок из вольноопределяющихся... Кем были до войны? Студентом классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент... Господин капитан,— сказал он Сагнеру,— приведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся...— Да-с,— продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся,— и с таким вот господином студентом классической философии приходится мараться нашему брату. Kehrt euch! ¹. Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу.

Команда вольноопределяющихся вступила во двор.

¹ Кругом! (нем.)

— В каре! — скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом.

— Посмотрите на этого человека, — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося. — Он пропил нашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой, навстречу славе на поле брани. А куда повеял бы двоих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак! Он один вылакал бы весь солдатский ром... Что вы можете сказать в свое оправдание? — обратился он к вольноопределяющемуся. — Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова. А еще изучал классическую философию! Вот действительно классический случай! — Полковник произнес последние слова нарочито медленно и плюнул.

— Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки! Тип! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии.

В этих словах выразилась вражда Девяносто первого полка к будейовицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая, вендетта, кровная месть, она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и другой стороны в традиционных происшествиях: то где-то пехотинцы спихивали артиллеристов в Влтаву, то наоборот. Драки происходили в «Порт-Артуре», «У розы» и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии.

— Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания, этот тип должен быть исключен из школы вольноопределяющихся, он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. *Regimentskanzlei!*¹

Полковой писарь подошел со строгим видом, держа наготове дела и карандаш.

Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу и председатель провозглашает: «Объявляется приговор...»

¹ Полковой писарь! (нем.)

Именно таким тоном полковник провозгласил:

— Вольноопределяющийся Марек присуждается к двадцати одному дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку!

И, повернувшись к команде вольноопределяющихся, полковник скомандовал:

— Построиться в колонну!

Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно четко отбивает шаг, и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой.

— Шаги должны греметь, господин капитан. Да вот еще что, чуть было не забыл,— прибавил полковник.— Объявите, что вся команда вольноопределяющихся лишается отпуска на пять дней — пусть они помнят своего бывшего коллегу, этого негодяя Марека.

А негодяй Марек стоял около Швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего он не мог и желать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать: «Einzelnabfallen! Bajonett auf!»¹.

Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шредер остановился перед Швейком и пристально посмотрел на него. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовало его круглое улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали: «Разве я натворил что-нибудь?» и «Чем же я виноват?»

Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю:

— Идиот? — И увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка.

— Так точно, господин полковник, идиот,— ответил за писаря Швейк.

¹ Один за другим! Примкнуть штыки! (нем.)

Полковник кивнул адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они просмотрели материал о Швейке.

— А!—сказал полковник Шредер.—Это, стало быть, денщик поручика Лукаша, который пропал в Таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучается. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы ведь тоже ни разу не видели его в нашем обществе? Ну вот. Значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика.

Полковник Шредер подошел к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал:

— На три дня под строгий арест, глупая скотина! По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу.

Таким образом, Швейк опять встретился с вольноопределяющимся на полковой гауптвахте, а поручик Лукаш, наверное, испытал большое удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал:

— Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик пропал на Таборском вокзале. Но ввиду того, что денщик ваш возвратился...

— Господин полковник...—с мольбою произнес поручик.

— ...я решил посадить его на три дня, после чего pošлю к вам,— твердо сказал полковник.

Потрясенный Лукаш, шатаясь, вышел из кабинета полковника.

*

Швейк с большим удовольствием провел три дня в обществе вольноопределяющегося Марека. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносилось «Храни нам, боже, государя», потом «Prinz Eugen, der edle Ritter»¹.

¹ Принц Евгений, славный рыцарь (нем.).

Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой:

Ты не бойся, профос, смерти,
Не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти
И живьем тебя возьмут.

Над нарами вольноопределяющийся нарисовал профоса и под ним написал текст старинной песенки:

За колбасой я в Прагу мчался,
Навстречу дурень мне попался.
Тот злобный дурень был профос —
Чуть-чуть не откусил мне нос.

И пока оба дразнили профоса, как дразнят в Севилье алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится Швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей.

ГЛАВА III

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В КИРАЛЬ-ХИДЕ

Девяносто первый полк переводили в город Мост-на-Литаве * — в Кираль-Хиду.

Швейк просидел под арестом три дня. За три часа до освобождения его вместе с вольноопределяющимся отвели на главную гауптвахту, а оттуда под конвоем отправили на вокзал.

— Давно было ясно, что нас переведут в Венгрию, — сказал Швейку вольноопределяющийся. — Там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами, и потом мы весело отправимся на Карпаты. А в Будейовицах разместят мадьярский гарнизон, и начнется смешение племен. Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности — лучшее средство против вырождения. Во время Тридцатилетней войны это делали шведы и испанцы, при Наполеоне — французы, а теперь в Будейовицком крае то же самое повторят мадьяры, и это не будет носить характера грубого изнасилования. Все получится само собой. Произойдет простой обмен: чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы.

— Перекрестное спаривание, — заметил Швейк, — это вообще очень интересная вещь. В Праге живет кельнер-

негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице *. В него влюбилась одна учительница, которая писала в «Ладе» * стишки о пастушках и ручейках в лесу. Учительница пошла с ним в гостиницу и «предалась блуду», как говорится в священном писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик! Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был черен, как его отец — абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику на кожных болезнях просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести, но ей сказали, что у мальчика настоящая арапская черная кожа и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел «Советы читателям», вопросы, какое есть средство против арапов. Ее отвезли в Катержинки *, а арапчонка поместили в сиротский дом. Вот была с ним потеха, пока он воспитывался! Потом он стал кельнером и танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно рождаются чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире «У чаши», дело с цветом кожи обстоит не так просто: от такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал: вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая, мерзавка, абсолютно, и в один прекрасный день — нате! — рождает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь.

— Ваш случай с негром Христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения, — предложил вольноопределяющийся. — Предположим, что этого негра призвали, а он пражанин и, следовательно, попадает в Двадцать восьмой полк. Как вы слышали, Двадцать восьмой полк перешел к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра Христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее

пет, и что Австрией уже пущены в ход чернокожие резервы.

— Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии,— проронил Швейк,— где-то на севере. Какая-то там Земля императора Франца-Иосифа.

— Бросьте это, ребята,— вмешался один из конвойных.— Нынче вести разговор о какой-то Земле императора Франца-Иосифа опасно. Самое лучшее— не называйте имен.

— А вы взгляните на карту,— перебил его вольноопределяющийся.— На самом деле существует Земля нашего все милостивейшего монарха, императора Франца-Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. Наибольшую опасность при экспортировании льда с Земли Франца-Иосифа представляет переправа льда через Полярный круг. Можете себе это представить?

Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя, капрал, подошел ближе и стал слушать объяснения вольноопределяющегося. Тот с глубокомысленным видом продолжал:

— Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и нарисовать на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов...

Капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалекий, старавшийся нахвататься всего, о чем не

имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебеля.

— ...не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку,— продолжал вольноопределяющийся,— хотя министерство просвещения, господин капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. Тогда замерзло пять архитектор-строителей и...

— Каменщики спаслись,— перебил его Швейк.— Они отогревались тем, что курили трубки.

— Не все,— возразил вольноопределяющийся,— с двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли, пришлось бедняг закопать в лед. Но школу в конце концов все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается! Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков затертых льдами торговых судов и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освящении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: «Gott strafe England!»¹. Теперь туда, наверно, пошлют войска, чтобы навести у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи.

— Этого еще не хватало,— глубокомысленно заметил капрал.— И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову — и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили.

— Это только так пугают,— отозвался Швейк.— Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное еще с казарм — после солдатского хлеба да гороха с крупой. Но вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров.

¹ Боже, покарай Англию! (нсм.)

— Какие-то особые электрические токи,— дополнил вольноопределяющийся.— Путем соединения с целлюлоидными звездочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв. Что ни день, то новые ужасы!

Хотя капрал и до военной службы был настоящий осел, но и он наконец понял, что над ним смеются. Он отошел от арестованных и пошел во главе конвоя.

Они уже приближались к вокзалу, куда собрались целые толпы будейовичан, пришедших проститься со своим полком.

Несмотря на то, что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска.

Все внимание Швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И как бывает всегда, так случилось и теперь: конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны, а Швейка и вольноопределяющегося посадят в особый арестантский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах сразу же за штабными вагонами. Места в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй.

Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу:

— Наздар!

Это подействовало очень сильно, приветствие было громко подхвачено всей толпой.

— Наздар! — прокатилось по всей площади и забушевало перед вокзалом.

Далеко впереди по рядам пробежало:

— Идут!

Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на Швейка, чтобы тот заткнул глотку. Но гул приветствий рос, как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу конвою. А толпа продолжала реветь: «Наздар!» — и махала шапками и шляпами.

Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала какие-то дамы махали платочками и кричали:

— Heil!

Из толпы к возгласам «наздар!» примешивалось «heil». Какому-то энтузиасту, который воспользовался

этим обстоятельством и крикнул: «Nieder mit den Serben!»¹ — подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке.

— Идут! — все дальше и дальше, как электрический ток, передавалось в толпе.

Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольноопределяющийся с серьезным лицом отдавал честь.

Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, боже, государя!», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестацией. К счастью, как раз вовремя подоспел обер-фельдкурат из Седьмой кавалерийской дивизии, патер Лацина, в черном котелке, и стал наводить порядок.

История того, как он сюда попал, совсем обыкновенная.

Патер Лацина, гроза всех офицерских столовок, насыщенный обжора и пьяница, приехал накануне в Будейовице и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню кланчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал, словно кот, все кости. Дорвавшись, наконец, в кладовой до рому, он наакался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг.

Он обладал богатым опытом в этом отношении, и офицерам Седьмой кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать.

На следующее утро ему пришло в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции.

Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, боже, государя!».

¹ Долой сербов! (нсм.)

— Halt! — крикнул обер-фельдкурат, вырвав у него дирижерскую палочку.— Рано. Я дам знак. А теперь geht! Я сейчас приду.

После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком: «Halt!»

— Куда?— строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать.

Вместо него приветливо ответил Швейк:

— Нас везут в Брук, господин обер-фельдкурат. Если хотите, можете ехать с нами.

— И поеду! — заявил патер Лацина и, обернувшись к конвойным, крикнул:— Кто говорит, что я не могу ехать? Vorwärts! Marsch! ².

Очутившись в арестантском вагоне, обер-фельдкурат лег на лавку, а добряк Швейк снял свою шинель и подложил ее патеру Лацине под голову.

Вольноопределяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса:

— За обер-фельдкуратами следует ухаживать!

Патер Лацина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять:

— Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и луку.

— Лук вы уже изволили положить раньше,— заметил вольноопределяющийся.

Капрал бросил на него полный отчаяния взгляд — для него патер Лацина хоть и пьяный, но все же был начальством.

Положение капрала было действительно отчаянным.

— Господин обер-фельдкурат, безусловно, прав,— поддержал Швейк священника.— Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Пакомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирьи.

Патер Лацина продолжал бормотать как сквозь сон:

— Все зависит от корней, от того, сколько и каких

¹ Вольно! (нем.)

² Вперед! Марш! (нем.)

кореньев положить. Но чтобы не переперчить, не... — он говорил все тише и тише, — ...не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемуска...

Он не договорил и захрапел вперемежку с присвистом.

Капрал уставился на него с остолбенелым видом.

Конвойные смеялись втихомолку.

— Проснется не скоро, — проронил Швейк. — Здорово нализался!

Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал.

— Чего там, — продолжал Швейк, — пьян вдрызг — и все тут. А еще в чине капитана! У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех, должно быть, так самим богом установлено: по каждому поводу напиваются до положения риз. Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверно, самого господа бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили.

Швейк подошел к патеру Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнес:

— Будет дрыхнуть до самого Брука... — и вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего:

— Надо бы пойти заявить.

— Это придется отставить, — сказал вольноопределяющийся. — Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится — тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя: сюда вход посторонним строго воспрещается. А если б вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить оберфельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с,

господин капрал, это пахнет не чем иным, как разжалованием.

Капрал нерешительно запротестовал, что не он-де впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат — все же начальство.

— Здесь только один начальник — вы, — неумолимо возразил вольноопределяющийся, а Швейк прибавил:

— Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь император, вы не имели бы права этого разрешить. Это все равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбежать за сигаретами, а тот еще начнет расспрашивать, какого сорта сигареты принести. За такие штуки сажают в крепость.

Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил обер-фельдкурату ехать вместе с ними.

— А я могу себе это позволить, господин капрал, — ответил Швейк, — потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал.

— Давно ли вы на сверхсрочной? — как бы между прочим спросил капрала вольноопределяющийся.

— Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные.

— Можете на этом поставить крест, — цинично заявил вольноопределяющийся. — Я уже сказал, тут пахнет разжалованием.

— В конце концов какая разница, — отозвался Швейк, — убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды.

Обер-фельдкурат зашевелился.

— Дрыхнет, — объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. — Ему, должно быть, жратва прикинулась. Одного боюсь, как бы с ним тут чего не произошло. Мой фельдкурат Кац, так тот, бывало, накладывается и ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте...

И Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся.

Рассказ Швейка был прерван только ревом, доносившимся из задних вагонов. Двенадцатая рота, состоявшая сплошь из крумловских и кашперских немцев, галдела:

Wann ich kumm, wann ich kumm.
Wann ich wieda, wieda kumm¹.

Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся Будейовицам:

Und du, mein Schatz,
Bleibst hier.
Holario, holario, holo!².

Вопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячьего вагона.

— Удивительно, что сюда еще не пришли с проверкой,— сказал капралу вольноопределяющийся.— Согласно предписанию, вы должны были доложить о нас коменданту поезда еще на вокзале, а не вожжаться со всякими пьяными обер-фельдкуратами.

Несчастный капрал упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы.

— Как только подумаю, что о нас никому не доложено,— продолжал ехидный вольноопределяющийся,— и что на первой же станции к нам, как пить дать, влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь! Словно мы какие-нибудь...

— Цыгане,— подхватил Швейк,— или бродяги. Похоже, будто мы боимся света божьего и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали.

— Помимо того,— не унимался вольноопределяющийся,— на основании распоряжения от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила: во-первых, арестантский вагон должен быть снабжен решетками,— это яснее ясного, и в данном случае первое правило соблюдено: мы находимся за безукоризненно прочными решетками. Это, значит, в порядке. Во-вторых, в дополне-

¹ Когда приеду я назад... (Песня на немецком диалекте.)

² А ты, мое сокровище, остаешься здесь. Голарйо, голарйо, голо! (нем.)

ние к императорскому и королевскому распоряжению от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится: мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света. И, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна.

— Можете делать в окно,— в полном отчаянии пролепетал капрал.

— Вы забываете,— возразил Швейк,— что арестантам подходить к окну воспрещается.

— В-третьих,— продолжал вольноопределяющийся,— в вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. А *granos!*¹ На какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Ну, так я и знал: вы и об этом не спрашивали.

— Вот видите, господин капрал,— заметил Швейк,— возить арестантов — это вам не шутка. О нас нужно заботиться. Мы не простые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам все подай под самый нос, на то существуют распоряжения и параграфы, они должны исполняться, иначе какой же это порядок? «Арестованный человек все равно как ребенок в пеленках,— говорил один мой знакомый бродяга,— за ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, чтобы не волновался, был доволен своей судьбой и чтобы никто бедняжку не обидел...» Впрочем,— прибавил Швейк, дружелюбно глядя на капрала,— когда пробьет одиннадцать часов, вы мне дайте об этом знать.

Капрал вопросительно посмотрел на Швейка.

— Вы, видно, хотите спросить, господин капрал, зачем вам нужно меня предупредить, когда будет одиннадцать часов? Дело в том, господин капрал, что с одиннадцати часов мое место — в телячьем вагоне,— торжественно объявил Швейк.— На полковом рапорте я был осужден на три дня. В одиннадцать часов я приступил к

¹ Кстати! (франц.)



А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка...



Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь...

отбытию наказания и сегодня в одиннадцать часов должен быть освобожден. С одиннадцати часов мне здесь делать нечего. Ни один солдат не может оставаться под арестом дольше, чем ему полагается, потому что на военной службе дисциплина и порядок прежде всего, господин капрал.

После этого удара несчастный капрал долго не мог прийти в себя. Наконец он возразил, что не получил никаких официальных бумаг.

— Милейший господин капрал, — отозвался вольноопределяющийся, — письменные распоряжения сами к начальнику конвоя не прибегут. Если гора не идет к Магомету, то начальник конвоя должен идти за ними сам. Вы в настоящий момент попали в необычную ситуацию: вы не имеете решительно никакого права задерживать кого-либо, кому полагается выйти на волю. С другой стороны, согласно действующим предписаниям, никто не имеет права пскинуть арестантский вагон. По правде сказать, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения. Положение чем дальше, тем хуже. Сейчас половина одиннадцатого. — Вольноопределяющийся спрятал часы в карман. — Очень любопытно, как вы поведете себя через полчаса, господин капрал.

— Через полчаса я должен занять мое место в телячьем вагоне, — мечтательно повторил Швейк.

Уничтоженный и сбитый с толку капрал обратился к нему:

— Если это не играет для вас большой роли... мне кажется, здесь для вас гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне. Я думаю...

Его прервал обер-фельдкурат, крикнувший спроне: сonya:

— Побольше соуса!

— Спи, спи, — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полу шинели. — Желаю тебе приятных снов о жратве.

Вольноопределяющийся запел:

Спи, моя детка, спи...
Глазки закрой свои,
Бог с тобой будет спать,
Люлечку ангел качать.
Спи, моя детка, спи...

Несчастный капрал уже ни на что не реагировал. Он тупо глядел в окно и дал полную свободу дезорганизации в арестантском купе.

Конвойные у перегородки играли в «мясо», и на ягодицы падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну.

Вольноопределяющийся на минуту задумался и затем обратился к измученному капралу:

— Вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»? *

— Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик, — ответил капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. — Большой был любитель санских коз, а они у него все дохли, так он спрашивал совета в этом журнале.

— Дорогой друг, — сказал вольноопределяющийся, — история, которую я вам сейчас изложу, со всею очевидностью вам докажет, что человеку свойственно ошибаться. Господа, там, сзади! Уверен, что вы перестанете играть в «мясо», ибо то, что я вам сейчас расскажу, покажется вам очень интересным, хотя бы потому, что многих специальных терминов вы не поймете. Я расскажу вам повесть о «Мире животных», чтобы вы позабыли о наших нынешних военных невзгодах.

Каким образом я стал редактором «Мира животных», этого весьма интересного журнала, — долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришел к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю — Гаеку. Гаек добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку его издателя, Фукса. Фукс прогнал Гаека в два счета со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора.

Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные.

Когда мой друг Гаек представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он

остался очень доволен. Я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и рассматривал их как переходную ступень к человеку и что, с точки зрения покровительства животным, я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет только одного, а именно: чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно.

Карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмем обычай рубить петухам головы. Общество покровительства животным борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их заживо жарили на маргарине. Что касается индюков...

Тут издатель прервал меня и спросил, знаком ли я с птицеводством, разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всем ее многообразии, сумею ли я вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться Бремом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам, короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице.

Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как «Мир животных», мною уже давно обдуман и разработан и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя, так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях.

Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту. Реорганизовать его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных» (применяясь, конечно, к политическому моменту), и преподнести читателям

сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, когда будут читать описание различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы о домашних животных и «Движением среди скота».

Издатель опять прервал меня и сказал, что этого вполне достаточно и что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандотов, получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы: их владелец тогда же был удостоен золотой медали за отличное спаривание.

Могу сказать: старался я по мере сил и возможностей и свою «правительственную» программу выполнял, насколько только хватало моих способностей; более того: я даже пришел к открытию, что в своих статьях превзошел самого себя.

Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее — давным-давно известны каждому читателю «Мира животных» и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил «сернистого кита». Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой; из нее сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту «китовой кислотой». Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде.

Смею вас уверить, что читатели «Мира животных» вообще очень любопытны.

Вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей. Назову хотя бы «благуна продувного» — млекопитающее из семейства кенгуру, «быка съедобного» — прототип нашей коровы и «инфузорнию сепиевую», которую я причислил к семейству грызунов.

С каждым днем у меня прибавлялись новые животные. Я сам был потрясен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брема в его «Жизни животных» могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брем и его последователи о моем нетопыре с острова Исландия, о так называемом «нетопыре заморском», или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «Пачуха оленья раздражительная»?

Разве кто-нибудь из естествоиспытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о «блохе инженера Куна», которую я нашел в янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым «мацаратом пещерным» из Постоенской пещеры, которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана.

По этому, незначительному в сущности, поводу возникла крупная полемика между газетами «Время» * и «Чех» *. «Чех», цитируя в своем фельетоне — рубрика «Разное» — статью об открытой мною блохе, сделал заключение: «Что бог ни делает, все к лучшему». «Время», естественно, чисто «реалистически» разбило мою блоху по всем пунктам, прихватив кстати и преподобного «Чеха». С той поры, по-видимому, моя счастливая звезда изобретателя-естествоиспытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики «Мира животных» начали высказывать недовольство.

Поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых своих собственных теорий, которые буквально вызвали панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Пазоурека хватил удар, а на Шумаве и в Подкрконошах все пчелы погибли. Домашнюю птицу постиг мор — словом, все и везде дошло. Подписчики присылали угрожающие письма. Отказывались от подписки.

Я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором «Сельского обозре-

ния», депутатом-клерикалом Йозефом М. Кадлачаком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала «Country Life»¹ картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве*. Я назвал ее «ореховкой», точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, «рябиновкой».

Заварилась каша. Кадлачак послал мне открытку, где напал на меня, утверждая, что это сойка, а вовсе не «ореховка» и что-де «ореховка» — это рабский перевод с немецкого Eichelhäher².

Я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно «ореховки», пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брема, мною самим придуманными.

Депутат Кадлачак ответил мне передовицей в «Сельском обозрении».

Мой шеф, пан Фукс, сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в «Мире животных». Когда я пришел в кафе, он показал головой на лежащее на столе «Сельское обозрение» и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами,— печальное выражение теперь не исчезало из его глаз.

Я прочел вслух перед всей публикой:

— «Многоуважаемая редакция!

Мною замечено, что ваш журнал вводит непривычную и необоснованную зоологическую терминологию, пренебрегая чистотою чешского языка и придумывая всевозможных животных. Я уже указывал, что вместо общепринятого и с незапамятных времен употребляемого названия «сойка» ваш редактор вводит название «желудничка», что является дословным переводом немецкого термина «Eichelhäher» — сойка».

— Сойка,— безнадежно повторил за мною издатель.

Я спокойно продолжал читать:

— «В ответ на это я получил от редактора вашего журнала «Мир животных» письмо, написанное в крайне грубом, вызывающем тоне и носящее личный характер. В этом письме я был назван невежественной скотиной —

¹ «Сельская жизнь» (англ.).

² Eichel — желудь (нем.).

оскорбление, как известно, наказуемое. Так порядочные люди не отвечают на замечания научного характера. Это еще вопрос, кто из нас бóльшая скотина. Возможно, что мне не следовало делать свои возражения в открытом письме, а нужно было написать закрытое письмо. Но ввиду перегруженности работой я не обратил внимания на такие пустяки. Теперь же, после хамских выпадов вашего редактора «Мира животных», я считаю своим долгом пригвоздить его к позорному столбу. Ваш редактор сильно ошибается, считая меня недоучкой и невежественной скотиной, не имеющей понятия о том, как называется та или иная птица. Я занимаюсь орнитологией в течение долгих лет и черпаю свои знания не из мертвых книг, но в самой природе, у меня в клетках птиц больше, чем за всю свою жизнь видел ваш редактор, не выходящий за пределы пражских кабаков и трактиров.

Но все это вещи второстепенные, хотя, конечно, вашему редактору «Мира животных» не мешало бы убедиться, что представляет собой тот, кого он обзывает скотиной, прежде чем нападки эти выйдут в свет и попадутся на глаза читателям в Моравии, Фридрихланде под Мистеком, где до этой статьи у вашего журнала также были подписчики.

В конце концов дело не в полемике личного характера с каким-то сумасшедшим, а в том, чтобы восстановить истину. Поэтому повторяю еще раз, что недопустимо выдумывать новые названия, исходя из дословного перевода, когда у нас есть всем известное отечественное — сойка».

— Да, сойка,— с еще бóльшим отчаянием в голосе произнес мой шеф.

Я спокойно читаю дальше, не давая себя прервать:

— «Когда неспециалист и хулиган берется не за свое дело, то это наглость с его стороны. Кто и когда называл сойку ореховкой? В труде «Наши птицы» на странице сто сорок восемь есть латинское название — «*Ganulus glandarius* В. А.». Это и есть сойка.

Редактор вашего журнала безусловно должен будет признать, что я знаю птиц лучше, чем их может знать неспециалист. Ореховка, по терминологии профессора Байера, является не чем иным, как *musifraga caucatectes* В., и это латинское «Б» не обозначает, как написал

мне ваш редактор, начальную букву слова «болван». Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную, и им не известна ваша «желудничка», придуманная господином, к которому именно и подходит начальная буква «Б», согласно его же теории.

Наглые выходки, направленные против личности, сути дела не меняют. Сойка останется сойкой, хотя бы ваш редактор даже наклеил в штаны. Последнее явится только лишним доказательством того, что автор письма пишет легкомысленно, не по существу дела, даже если он при этом в возмутительно грубой форме ссылаясь на Брема. Так, например, этот грубиян пишет, что сойка, согласно Брему, страница четыреста пятьдесят два, относится к отряду крокодиловидных, в то время как на этой странице говорится о жулане или сорокопуге обыкновенном (*Lanius minor* L.). Мало того, этот, мягко выражаясь, невежда ссылается опять на Брема, заявляя, что сойка относится к отряду пятнадцатому, между тем как Брем относит вороновых к отряду семнадцатому, к которому принадлежат и вороны, семейства галок, причем автор письма настолько нагл, что и меня назвал галкой (*colaeus*) из семейства сорок, ворон синих, из подотряда болванов неотесанных, хотя на той же странице говорится о сойках лесных и сороках пестрых».

— Лесные сойки,— вздохнул мой издатель, схватившись за голову.— Дайте-ка сюда, я дочитаю.

Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал хрипеть.

— Груздь, или дрозд черный, турецкий,— прохрипел он,— все равно останется в чешском переводе черным дроздом, а серый дрозд — серым.

— Серого дрозда следует называть рябинником, или рябиновкой, господин шеф,— подтвердил я,— потому что он питается рябиной.

Пан Фукс отшвырнул газету и залез под бильярд, хрипя последние слова статьи: «*Turdus*»¹, груздь!

— К черту сойку! — орал он из-под бильярда.— Ореховка! Укушу!

Еле-еле его вытащили. Через три дня он скончался в узком семейном кругу от воспаления мозга.

¹ Дрозд (лат.).

Последние его слова перед кончиной в минуту просветления разума были:

— Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С этой точки зрения и примите мое последнее суждение как по существу, так и...— и икнул.

Вольноопределяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу:

— Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться.

Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога.

Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Швейка рассказ заинтересовал больше других.

— Нет ничего тайного, что не стало бы явным,— начал он.— Все рано или поздно вылезает наружу, даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике — еще труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий Местек обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка, на Виноградах, за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канapé, на котором валялась девка с Жижкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников, из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано: «До свидания!» Зато насчет груди было слабо: висели у нее до самого пупка, словно у старой шлюхи. В семь часов вечера Местек закрывал панораму и говорил: «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась и в десять часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине: «Красавчик, пойдем со мной побалуемся». Ввиду того что у нее не было желтого билета, ее вме-

сте с другими «мышками» арестовал во время облаты пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку.

В этот момент обер-фельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом, при общем молчании, стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадежным голосом сказал: «Хоть бы помог кто...» — конвойные только посмотрели на него, но и пальцем не пошевелили.

— Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, в другой раз он у меня выспался на шкафу. Бывало, спал и в чужой квартире, в корыте. И где он только не дрыхл..

Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка:

— Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же, лезет со своей болтовней. Тля!

— Верно. А вы, господин капрал, бог,— ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающего в ярую полемику.— Вы мать скорбящая.

— Господи боже! — сложив руки, как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся.— Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением! Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах!

Капрал побагровел и вскочил с места:

— Я запрещаю всякого рода замечания, вольноопределяющийся!

— Вы ни в чем не виноваты,— успокаивал его вольноопределяющийся.— При всем разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте; небось, вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если б вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и

вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного, по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы наконец сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет.

— Я вас посажу! — с отчаянием крикнул капрал. Вольноопределяющийся улыбнулся.

— Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил? В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы — готов держать пари на что угодно! — не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление.

— Безусловно, — подтвердил Швейк. — Никто вам ни словечка не сказал, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шел об орангутангах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как... «Ну, говорит, как у того вон, скажем, господина за соседним столом». Мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что уколошил этого господина. Потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали,

потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и все время только о нем и говорили. И — представьте — настаивал на своем. Мы говорили, что ничего подобного и что он не орангутанг. А он все — орангутанг да орангутанг, я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что он ничего не понимает и что он с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в «Туннель», но не пришлось: нас тоже посадили за решетку... Вот видите, господин капрал, во что может вылиться маленькое, пустяковое недоразумение, на которое и слов-то не стоит тратить. А вот в Немецком Броде один гражданин из Округлиц обиделся, когда его называли тигровой змеей. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать? Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы — выхухоль, могли бы вы за это на нас рассердиться?

Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выражавший гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший обер-фельдкурат.

После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые, невыразительные глаза уставились вдаль, на леса и горы.

— Господин капрал, — сказал вольноопределяющийся, — сейчас, когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет! Как проникновенно, без тени деланности, жеманства таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весной, когда по этим пустым местам расстелется ковер пестрых полевых цветов...

— Орошаемый ручейком, — подхватил Швейк. — А на пне сидит господин капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький читатель»*.

Капрал впал в полнейшую апатию. Вольноопределяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов.

— Простите, господин капрал, а вы не служили ли моделью скульптору Штурсе*?

Капрал взглянул на вольноопределяющегося и ответил сокрушенно:

— Не служил.

Вольноопределяющийся замолк и растянулся на лавке.

Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять: тогда бы у него для последнего хода осталась семерка.

— В прежние времена,— отозвался Швейк,— в трактирах были очень хорошие надписи на стенах, специально насчет советчиков. Помню одну надпись: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам».

Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился.

— Так и знал,— сказал беспощадный вольноопределяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала,— инспекция уже тут...

В вагон вошла инспекция.

Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса — доктор Мраз.

Для исполнения столь.bestолоковых дел всегда начинали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитать одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенный на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на будейовицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у

него разболелась голова, он принял уже три порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице.

Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе.

— А кого еще везете? — строго спросил он, указывая на обер-фельдкурата, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — заикаясь, пролепетал капрал. — Этот, эт...

— Какой еще там «этотэт»? — недовольно заворчал Мраз. — Выражайтесь яснее.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за капрала Швейк, — человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин обер-фельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак — начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским.

Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на обер-фельдкурата, который должен был ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь — пожалуйста! — в арестантском купе ни с того ни с сего родился обер-фельдкурат.

Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе обер-фельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность.

Капрал после долгих усилий перевернул обер-фельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал:

— Eh, servus, Fredy, was gibt's neues? Abendessen schon fertig? ¹

¹ А, Фреди, здорово, что нового? Ужин готов? (нем.)

После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене.

Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из Офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул.

— Пойдете за это на рапорт,— сказал он капралу и направился к выходу.

Швейк задержал его:

— Осмелюсь доложить, господин поручик, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до одиннадцати, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на три дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу.

— Фамилия? — спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги.

— Швейк Йозеф, господин лейтенант.

— Мгм... вы, значит, тот самый Швейк,— буркнул Мраз.— Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в одиннадцать, но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили.

После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания:

— Вот видите, Швейк, ни черта вам не помогло обращение к высшей инстанции! Ни черта оно не стоило! Дерьмо цена ему! Захочу, могу вами обоими печку растопить.

— Господин капрал,— прервал его вольноопределяющийся.— Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность.

— Довольно с меня! — вскочил капрал. — Я вас обоих в тюрьму могу упрятать.

— За что же, голубчик? — невинно спросил вольноопределяющийся.

— Это уж мое дело, за что, — храбрился капрал.

— Ваше дело? — переспросил с улыбкой вольноопределяющийся. — Так же, как и наше. Это как в картах: «Деньги ваши будут наши». Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, а вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением.

— Грубияны вы, вот что! — закричал капрал, набравшись храбрости и делая страшное лицо.

— Знаете, что я вам скажу, господин капрал, — сказал Швейк. — Я старый солдат, и до войны служил, и не знаю случая, чтобы ругань приводила к чему-нибудь хорошему. Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как говорится, нянька его в детстве уронила. Придирался он к нам, приставал как банный лист; то это не так, то то не по предписанию — словом, придирался, как только мог, и всегда нас ругал: «Не солдаты вы, а ночные сторожа». В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты. «Чего тебе?» — спрашивает капитан. «Осмелюсь доложить, господин капитан, с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы как-никак солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю императору, а не баклуши бьем». — «Смотри у меня, насекомое, — ответил мне капитан. — Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться!» А я на это: «Покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа, а солдаты его императорского величества, он посадил меня на два дня, но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять: «Осмелюсь доложить, господин полковник, прошу направить меня на рапорт в бригаду». Этого он испугался и моментально велел позвать в кан-

целярию нашего фельдфебеля Шрейтера, и тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за «ночных сторожей». Потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был начеку, но все-таки не уберегся. Стоял я однажды на часах у цейхгауза. На стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память: нарисует, скажем, женские части или стишок какой напишет. А я ничего не мог придумать и от скуки подписался как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер — сволочь». Фельдфебель, подлец, моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал, словно полицейский пес. По несчастной случайности, над этой надписью была другая: «На войну мы не пойдём, на нее мы все на..ём». А дело происходило в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохазки. Меня моментально отправили в Терезин, в военный суд. Раз пятнадцать господ из военного суда фотографировали стену цейхгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. Чтобы после исследовать мой почерк, меня раз десять заставляли писать: «На войну мы не пойдём, на нее мы все на..ём», пятнадцать раз мне пришлось в их присутствии писать: «Фельдфебель Шрейтер — сволочь». Наконец приехал эксперт-графолог и велел мне написать: «Двадцать девятого июня тысяча восемьсот девяносто седьмого года Кралов Двур изведаль ужасы стихийного разлива Лавы». «Этого мало,— сказал судебный следователь.— Нам важно это «на..ём». Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «с» и «р». Эксперт продиктовал мне: «серб, сруб, свербеж, херувим, рубин, шваль». Судебный эксперт, видно, совсем зарпортовался и все время оглядывался назад, на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я три раза подряд написал: «Солнышко уже начинает припекать: наступают жаркие дни»,— это, мол, пойдет в Вену. Затем весь материал отправили в Вену, и наконец выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя, но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили шесть недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не

мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене.

— Видите, вас все-таки наказали,— не без удовлетворения отметил капрал,— вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не шесть недель, а шесть лет.

— Не будьте таким грозным,— взял слово вольноопределяющийся.— Пора размыслите-ка лучше о своем конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы вам приготовиться к этому серьезному моменту и взвесить всю брениость вашего капральского существования. Что, собственно, представляете вы собою по сравнению со вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от этого воинского поезда на расстоянии в двести семьдесят пять тысяч раз больше, чем солнце, и ее параллакс равен одной дуговой секунде. Если представить себе вас во вселенной в виде неподвижной звезды, вы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во вселенной не существует понятия. За полгода вы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой.

— В таком случае,— заметил Швейк,— господин капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин капрал, посадят,— продолжал Швейк с милой улыбкой,— в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа, и пусть они остаются при своем мнении, а вы при своем. Знал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую

санкцию *. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал:

Пусть было, как было,— ведь как-нибудь да было!
Никогда так не было, чтобы никак не было.

За это его посадили в темную одиночку и не давали ему два дня ни есть, ни пить, а потом опять повели на допрос. Но он стоял на своем: «Пусть было, как было,— ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, чтобы никак не было». Его отправили в военный суд, и возможно, что и на виселицу он шел с теми же словами.

— Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают,— сказал один из конвойных.— Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылал, прощаясь с женою в Бенешове, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет.

— Всему есть границы,— двусмысленно сказал вольноопределяющийся.

— Ваша правда,— отозвался капрал.— Так им, редакторам, и надо. Только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще был ефрейтором, под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения до седьмого поту, он всегда говорил: «Прошу уважать во мне человека». Я ему тогда и показал, что такое «человек». Как-то раз — на казарменном дворе тогда повсюду была грязь — подвел я его к большой луже и скомандовал «Nieder!»; пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, а мундир сиять, как стеклышко. Ну и чистил, кряхтел, а чистил; да еще всякие замечания при этом делал. На следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал: «Ну-с, господин редактор, так кто же выше: паршивая овца или ваш «человек?»» Настоящий был интеллигент.

Капрал с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося и продолжал:

— Ему спорили нашивки вольноопределяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательствах над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать у винтовки, хоть десять раз ему показывай. Скажешь ему «равнение налево», а он, словно нарочно, воротит свою башку направо и глядит на тебя, точно ворона. Приемов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше братья: за ремень или за патронташ. Вывалит на тебя буркалы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку; честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, господи боже! При команде «кругом марш!» ему было все равно, с какой ноги делать: шлеп, шлеп, шлеп — уже после команды пер еще шагов шесть вперед, топ, топ, топ... и только тогда поворачивался, как петух на вертеле, а шаг держал, словно подагрик, или приплясывал, точно старая дева на престольном празднике.

Капрал плюнул.

— Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить, он тер ее, как кобель сучку, но если бы даже купил себе на два кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже, винтовка еще больше ржавела, а потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись, как это можно довести винтовку до такого состояния, — одна ржавчина. Наш капитан всегда ему говаривал, что солдата из него не выйдет, лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал задаром солдатский хлеб. А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер, и это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было! Все только о разоружении и о мире между народами. За это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились, до тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он

выписывал пайки; его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если б по своей глупости не потерял права вольноопределяющегося. Мог бы стать лейтенантом.

Капрал вздохнул.

— Складок на шинели не умел заправить. Только и знал, что выписывал себе из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И все-таки его пуговицы были рыжие, как Исав *. Но языком трепать умел, а когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствования. Он и раньше был на это падок. Одно слово — «человек», как я вам уже говорил. Однажды, когда он пустился в рассуждения перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде «nieder», я ему сказал: «Когда начинают распространяться насчет человека да насчет грязи, мне, говорю, вспоминается, что человек был сотворен из грязи,— и там ему и место».

Высказавшись, капрал остался очень собою доволен и стал ждать, что скажет на это вольноопределяющийся. Однако отозвался Швейк:

— За такие вот штуки, за придирки, несколько лет тому назад в Тридцать шестом полку некий Коничек заколол капрала, а потом себя. В «Курьере» * это было. У капрала на теле было этак с тридцать колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого капрала и, на нем сидя, заколол и себя. Другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось погруженным во мрак неизвестности. Выяснили только, что фамилия зарезанного капрала Фиала, а сам он из Дравовны под Турновом. Затем известен мне еще один случай с капралом Рейманеком из Семьдесят пятого полка...

Не лишенное приятности повествование было прервано громким кряхтением, доносившимся с лавки, где спал обер-фельдкурат Лащина.

Патер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым веселым Рабле.

Обер-фельдкурат пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил:

— Что за черт, где это я?

Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил:

— Осмелюсь доложить, господин обер-фельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне.

На лице патера мелькнуло удивление. С минуту он сидел молча и напряженно соображал, но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, все еще стоявшего перед ним в подобострастной позе:

— А по чьему приказанию меня, как какого-нибудь...

— Осмелюсь доложить, безо всякого приказания, господин обер-фельдкурат.

Патер встал и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и спросил:

— А куда мы, собственно, едем?

— Осмелюсь доложить, в Брук.

— А зачем мы едем в Брук?

— Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш Девяносто первый полк.

Патер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло, как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брук именно с Девяносто первым полком и под конвоем. Наконец он протрезвился настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольноопределяющийся. Он обратился к нему:

— Вы человек интеллигентный; может быть, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам?

— С удовольствием,— охотно согласился вольноопределяющийся.— Вы просто-напросто примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой.

Капрал строго взглянул на вольноопределяющегося.

— Вы влезли к нам в вагон,— продолжал вольноопределяющийся,— таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли

в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт.

— Так, так,— вздохнул патер.— Значит, на ближайшей станции мне нужно будет пересест в штабной вагон. А что, обед уже разносили?

— Обед будет только в Вене, господин обер-фельдкурат,— вставил капрал.

— Так, значит, это вы подложили мне под голову шинель? — обратился патер к Швейку.— Большое вам спасибо.

— Не за что,— ответил Швейк.— Я поступил так, как должен поступать каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под головой и что оно... того. Солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Народ они веселый и сердечный.

Обер-фельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее Швейку.

— Кури! Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт? — обратился он к капралу.— Ничего, брат, не бойся. Я тебя выручу. Ничего тебе не сделают. А тебя,— сказал он Швейку,— я возьму с собой; будешь у меня жить, как у Христа за пазухой.

На него нашел новый припадок великодушия, и он насулил всем всяческих благ: вольноопределяющемуся обещал купить шоколада, конвойным — рому, капрала обещал перевести в фотографическое отделение при штабе Седьмой кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только Швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить, и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни.

— Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом,— сказал он.— Знакомств у меня много, и со мной вы не пропадете. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных господу богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь и, как я

вижу, с готовностью и безропотно сносит испытания, ниспосланные на вас богом. На основании чего вы подверглись наказанию? — обратился он к Швейку.

— Бог меня покарал, — смиренно ответил Швейк, — избрав своим орудием полковой рапорт, господин оберфельдкурат, по случаю не зависящего от меня опоздания в полк.

— Бог бесконечно милостив и справедлив, — торжественно возгласил оберфельдкурат. — Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество. А вы за что сидите, вольноопределяющийся?

— Всемиловитому создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился, — ответил вольноопределяющийся. — По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне.

— Что бог ни делает, все к лучшему, — с пафосом провозгласил патер, заслышав о кухне. — Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, готовя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, — и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности — пропадешь. Вчера вечером в Будейовицах, в Офицерском собрании, подали нам, между прочим, почки в мадере. Тот, кто смог их так приготовить, — да отпустит ему за это господь бог все прегрешения! — был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Скуччи. А те же почки в мадере ел я однажды в офицерской столовой Шестьдесят четвертого запасного полка. Навалили туда мину, — ну, словом, так, как готовят почки с перцем в про-

стом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении!

Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и Швейк с охотой, но, как всегда, не к месту затянул:

Идет Марина
Из Годонина.
За ней вприпрыжку
С вином под мышкой
Несется поп —
Чугунный лоб.

Но обер-фельдкурат нисколько не рассердился.

— Если бы было под рукой хоть немножко рому, то и вина не нужно,— сказал он, дружелюбно улыбаясь,— а что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один.

Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом.

— Осмелюсь предложить, господин обер-фельдкурат,— по голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва,— не сочтите за обиду-с...

— Не сочту, голубчик,— ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки.— Пью за наше благополучное путешествие.

— Иисус Мария! — вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка обер-фельдкурата исчезла половина содержимого фляжки.

— Ах вы, такой-сякой,— пригрозил ему обер-фельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольноопределяющемуся.— Ко всему прочему вы еще упоминаете имя божье всуе! За это он вас должен покарать.— Патер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал: — Прикончить!

— Приказ есть приказ,— добродушно сказал Швейк капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах унтера появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевнобольных.

— А теперь я чуточку вздремну до Вены,— объявил обер-фельдкурат.— Разбудите меня, как только приедем в Вену. А вы,— обратился он к Швейку,— сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина обер-фельдкурата Лацины. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки — невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок: пусть нальют рому.

Патер Лацина стал шарить по карманам.

— Послушайте,— сказал он капралу,— у меня нет мелочи, дайте-ка мне займы золотой... Так, вот вам. Как фамилия?

— Швейк.

— Вот вам, Швейк, на дорогу. Капрал, одолжите мне еще один золотой. Вот, Швейк, этот второй золотой вы получите, если исполните все как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите — не берите с краю, а если венгерскую колбасу, не берите кончик, лучше из середки, кусок посочнее.

Обер-фельдкурат растянулся на лавке и через минуту уснул.

— Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденным,— сказал вольноопределяющийся капралу под храп патера.— Малыш хоть куда.

— Отлученный от груди, как говорится,— вставил Швейк,— уже из бутылочки сосет, господин капрал...

Капрал с минуту боролся сам с собой и, вдруг забыв всякое подобострастие, сухо сказал:

— Мягко стелет...

— Мелочи, дескать, у него нет,— проронил Швейк.— Это мне напоминает одного каменщика из Дейвиц по фамилии Мличко. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупные-то пропил, а мелочи у него не было.

— В Семьдесят пятом полку,— ввязался в разговор один из конвойных,— капитан еще до войны пропил всю

полковую казну, за что его и выперли с военной службы. Нынче он опять капитан. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлицы, больше двадцати штук, а теперь подпрапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на три дня.

— Это к делу не относится,— заявил капрал.— Но что правда, то правда: взять в долг у бедного капрала два золотых, чтобы дать на чай,— это уж...

— Вот вам ваш золотой,— сказал Швейк.— Я не хочу наживаться за ваш счет. А если получу от оберфельдкурата второй, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных двух золотых. Посмотрел бы я, как бы вы запели, если б вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Скажем, если б он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями...

— Вы-то уж, наверно, наделали бы в штаны,— зашищался капрал.— Денщик несчастный!

— Во время боя не один в штаны наложит,— заметил кто-то из конвоя.— Недавно в Будейовицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «ура». Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере, ногами вниз; при наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею, аккурат на его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут, брат, никто не знает, что с тобой случится.

— А иногда,— подхватил Швейк,— человека в бою вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге — в Погоржельце, в трактире «Панорама» — один из команды

выздоровливающих, раненный под Перемышлем, рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Откуда ни возьмись, полез на него русский солдат, парень-гора, штык наперевес, а из носу у него катилась здоровенная сопля. Бедняга только взглянул на его носище с соплей, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно заразился холерой.

— Кем он был: рядовым или капралом? — осведомился вольноопределяющийся.

— Капралом, — спокойно ответил Швейк.

— То же самое могло случиться и с каждым вольнопером, — глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося, словно говоря: «Что, выкусил? И крыть нечем».

Но вольноопределяющийся не ответил и улегся на скамейку.

Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление, даже немолчны́й галдеж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор, —

Wann ich kumm, wann ich kumm,
Wann ich wieda, wieda kumm! —

затих под влиянием тяжелого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена Вена.

— Все в порядке, — заметил Швейк, глядя на окопы. — Все в полном порядке. Одно только неудобно: венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут на прогулку за город. Придется быть очень осторожным.

Вена вообще замечательный город, — продолжал он. — Одних диких зверей в шенбруннском зверинце сколько! Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил ходить смотреть на обезьян, но туда никого не пускают, когда проезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мною был один портной из десятого района, так его арестовали потому, что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян.

— А во дворце вы были? — спросил капрал.

— Там прекрасно,— ответил Швейк.— Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. Самое красивое там — это дворцовый конвой. Каждый стражник, говорят, должен быть в два метра ростом, а выйдя в отставку, он получает трафику *. А принцесс там как собак нерезанных.

Поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча.

Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции и когда их повсюду встречали одетые в дурацкие белые платья дружечки * с идиотскими лицами и идиотскими букетами в руках. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура-патриотов и республиканцев.

Торжественная делегация состояла из трех дам — членов австрийского общества Красного Креста, двух дам — членов какого-то военного кружка, венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного.

На лицах всех была написана усталость. Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час, на станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изюм в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как и у тех, кто встречал будейовицкий полк.

Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадежность, как у идущих на виселицу.

К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями: «Sieg und Rache», «Gott, strafe England», «Der Oesterreicher hat ein Vater-

land. Er liebt's und hat auch Ursach für's Vaterland zu kämpfen»¹.

Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадежность.

Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание обер-фельдкурата. Вольноопределяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят: двое конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон.

Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется. Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша.

— Кому вы это несете, Швейк? — спросил бедняга поручик, когда Швейк положил наземь целую кучу вещей, завернутых в шинель, — добычу, взятую с боем из офицерской кухни.

Швейк замылся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил:

— Осмеюсь доложить, это для вас, господин обер-лейтенант. Не могу вот только найти, где ваше купе, и, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами, — это такая свинья.

Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно:

— Настоящая свинья, господин обер-лейтенант. Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже одиннадцать часов, время свое я отсидел и мое место в телячьем вагоне либо с вами. А он меня страшно грубо оборвал: дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь. Сказал, что по крайней мере я опять не

¹ «Победа и отмщение», «Боже, покарай Англию!», «У сына Австрии есть отчизна. Он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну» (нсм.).

осрамлю вас в пути. Господин обер-лейтенант! — Швейк страдальчески скривил рот. — Точно я вас, господин обер-лейтенант, когда-нибудь срамил!

Поручик Лукаш вздохнул.

— Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил, — продолжал Швейк. — Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и «промысел божий», как сказал старик Ваничек из Пельгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму. Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался, как бы все сделать половчее да получше. Разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получились лишь горе да мука?

— Только не плачьте, Швейк, — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. — Я все устрою, чтобы вы опять были со мной.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно: мы с вами самые несчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я, отроду такой старательный...

— Успокойтесь, Швейк.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант: если бы не субординация, я бы сказал, что нипочем не могу успокоиться, но, согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился.

— Так залезайте в вагон, Швейк.

— Так точно, уже лезу, господин обер-лейтенант.

*

В военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были открыты настежь из-за невыносимой жары.

Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон.

Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов его императорского величества. Там шла работа днем и ночью: перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносило вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы.

Из покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь, на военном стрельбище, внизу, в долине Литавы, был виден красный электрический фонарь борделя «У кукурузного початка», который в 1908 году во время больших маневров у Шопрони почтил своим посещением эрцгерцог Стефан и где ежедневно собиралось офицерское общество.

Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольноопределяющиеся. Они посещали «Розовый дом». Его зеленые фонари также были видны из заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся «пуфами». Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых.

Мост-на-Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияла огнями Кираль-Хида, Цислейтания и Транслейтания *. В обоих городах, в венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили. Кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь Мост-на-Литаве, Bruck an der Leite ¹, равно как и Кираль-Хида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель.

В одном из офицерских барачков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. Швейк сидел на постланной постели поручика, а напротив, на столе, сидел денщик майора Венцеля.

Майор Венцель вернулся с фронта в полк, после того как в Сербии, на Дрине, блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Кираль-Хиде и, помимо того, исполнял ка-

¹ Брук-на-Лейте (нем.).

кие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре.

Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался:

— Что бы это могло означать — старый черт не идет и не идет?.. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается? Мог бы по крайней мере оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постель и такого бы веселья задал! У нас там вина уйма.

— Он, говорят, ворует, — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. — Ты-то небось должен знать, откуда у вас вино.

— Куда прикажет, туда и хожу, — тонким голоском сказал Микулашек. — Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой.

— А если бы он приказал обокрасть полковую каску, ты бы тоже это сделал? — спросил Швейк. — За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист.

Микулашек заморгал своими маленькими глазками.

— Я бы еще подумал.

— Нечего тут думать, молокосос ты этакий! — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся.

Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке.

Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола, и, сидя, отдавал честь, к тому же еще запоминал, что на нем нет фуражки.

— Имею честь доложить, все в полном порядке, — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета.

Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашеку, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе.

— Поручик Лукаш, — представился поручик, подходя к Микулашеку не совсем твердым шагом. — А как ваша фамилия?

Микулашек молчал. Лукаш пододвинул себе стул, уселся против Микулашека и, глядя на него снизу вверх, сказал:

— Швейк, принесите-ка мне из чемодана служебный револьвер.

Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если б он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика.

— Как зовут, я спрашиваю?! — заорал поручик, глядя снизу вверх на Микулашека.

Но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог, хотел ответить — и не мог, хотел опустить руку, но рука не опускалась.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — раздался голос Швейка. — Револьвер не заряжен.

— Так зарядите его.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, этот Микулашек — денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить. Совсем забытый ребенок. Одним словом — молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное — было бы чего пугаться, а ведь он ничего такого не натворил.

Швейк плюнул; в его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулашека и к его неумению держаться по-военному.

— С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю.

Швейк стащил со стола Микулашека, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны.

— Пока еще нет, — доложил он, — но уже начинается. Прикажете его выбросить?

— Выбросьте его, Швейк.

Швейк вывел трясущегося Микулашека в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему:

— Я тебя спас от смерти, дурачина. Когда вернется господин майор Венцель, принеси мне за это потихоньку бутылочку вина. Кроме шуток, я спас тебе жизнь. Когда мой поручик надерется, с ним того и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить и никто другой.

— Я... — начал было Микулашек.

— Вонючка ты, — презрительно оборвал его Швейк. — Сядь на пороге и жди, пока придет твой майор Венцель.

— Наконец-то! — встретил Швейка поручик Лукаш. — Ну, идите, идите, мне нужно с вами поговорить. Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь-ка, Швейк, и бросьте ваше «слушаюсь». Молчите и слушайте внимательно. Знаете, где в Кираль-Хиде *Sorponyi utca*?¹ Да бросьте вы ваше «осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик». Не знаете, так скажите «не знаю» — и баста! Запишите-ка себе на бумажке: *Sorponyi utca*, номер шестнадцать. В том доме внизу скобяная торговля. Знаете, что такое скобяная торговля?.. Бог ты мой, не говорите «осмелюсь доложить»! Скажите «знаю» или «не знаю». Итак, знаете, что такое скобяная торговля? Знаете — отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. Знаете, что такое мадьяр? Так *himmelherrgott*² — знаете или не знаете? Знаете — отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет, слышали? Не слышали, черт побери, так я вам говорю, что он там живет! Поняли? Поняли — отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь? Хорошо. Итак, завтра утром, часов этак в десять, вы отправитесь в город, разыщете этот дом, подыметесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо.

Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул Швейку, зевая, белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса.

¹ Шопроньская улица (венгерск).

² Черт подери (нем.).

— Дело чрезвычайно важное, Швейк,— наставлял поручик.— Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. Да, запишите еще, что эту даму зовут Этелька. Запишите: «Госпожа Этелька Каконь». Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах. И ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. Что вы хотели сказать?

— А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда?

— Скажите, что вы во что бы то ни стало должны получить ответ,— сказал поручик, снова зевнув во весь рот.— Ну, я пойду спать, я здорово устал. Сколько было выпито! После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет.

Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в Кираль-Хиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятно, была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли.

Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им напрокат в театре бинокль не был ахроматическим, и вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна.

В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а ее спутник отвечал по-мадьярски.

— Да, мой ангел, идем, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище.

— *Es ist ekelhaft!*¹ — возмущалась дама, в то время как ее кавалер подавал ей мантию.

В ее глазах, в больших темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша и еще раз решительно сказала:

— *Ekelhaft, wirklich ekelhaft!*²

Этот момент решил завязку короткого романа.

От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь и что у Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать, скобяная торговля.

— А живет он с пани Этелькой во втором этаже, — сообщила гардеробщица с подробностями старой сводницы. — Она немка из города Шопрони, а он мадьяр. Здесь все перемешались.

Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там в ресторане «У эрцгерцога Альбрехта» он встретился с офицерами Девяносто первого полка. Говорил он мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высоконравственной и красивой даме, к которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных артисток другие офицеры.

В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе «У креста св. Стефана», занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется донага и позволит ему делать с ней, что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных:

«Милостивая государыня!

Я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил...»

¹ Это отвратительно! (нем.)

² Отвратительно, в самом деле отвратительно! (нем.)

«Надо как следует напасть на него. По какому праву у этого субъекта такая очаровательная жена? — сказал сам себе поручик Лукаш.— Ведь он выглядит, словно бритый павиан...»

И он написал:

«Ваш супруг не без удовольствия и с полной благо-склонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека...»

«Бюст у нее изумительный,— подумал поручик Лукаш.— Эх, была не была!»

«Простите меня, милостивая государыня, за то, что, будучи вам неизвестен, я тем не менее откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваше суждение совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг — чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой...»

«Не годится»,— сказал про себя поручик Лукаш, зачеркнул «schleppt mit»¹ и написал:

«...который в своих личных интересах водит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве...»

«Здесь в отелях это будет неудобно. Придется везти ее в Вену,— подумал поручик.— Возьму командировку».

«Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь

¹ Таскает с собой (нем.).

возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком будущем предстоят трудные военные походы и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которая понимала его так же глубоко, как и он понимал ее. Ваше решение будет для меня приказанием. Ваш ответ — решающим моментом в моей жизни».

Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками.

*

Было уже девять часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Кираль-Хиду. Я вас будил уже в семь часов, потом в половине восьмого, потом в восемь, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись. Господин обер-лейтенант, а господин обер-лейтенант!..

Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось: Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом:

— Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Кираль-Хиду!

Поручик зевнул.

— Письмо?.. Ах да! Но это секрет, понимаете? Наша тайна... Abtreten...¹

Поручик завернулся в одеяло, которое с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Кираль-Хиду.

Найти Шопроньскую улицу и дом номер шестнадцать было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичка, который был прикомандирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Боиште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего ино-

¹ Идите... (нем.)

го, как зайти в трактир «У черного барашка» в Бруке, где работала знакомая кельнерша, чешка Руженка, которой были должны все чехи-вольноопределяющиеся, когда-либо жившие в лагере.

Сапер Водичка, старый пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов-вольноопределяющихся и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплатив долга.

— Тебя куда, собственно, несет? — спросил Водичка после первого стакана доброго винца.

— Это секрет, — ответил Швейк, — но тебе, как старому приятелю, могу сказать...

Он разъяснил ему все до подробностей, и Водичка заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо.

Оба увлеклись беседой о былом, и, когда вышли от «Черного барашка» (был уже первый час дня), все казалось им простым и легко достижимым.

По дороге к Шопроньской улице, дом номер шестнадцать, Водичка все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без усталости рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где помешало ему подраться с ними.

— Держим это мы раз одну такую мадьярскую рожу за горло. Было это в Паусдорфе, когда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по черепу в темноте; ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу, а он вдруг как закричит: «Тонда, да ведь это я, Пуркрабек из Шестнадцатого запасного!» Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Незидерского озера мы с ними, шутами мадьярскими, как следует расквитались! Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то гонведского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое: «Uram, uram, bíró uram», либо: «Láňok, láňok, láňok a faluba»¹. Са-

¹ Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки (венгерск.).

димся мы против них. Положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: «Подождите, сукины дети! Мы вам покажем «ланьок». А один из наших, Мейстршик, у него кулачище, что твоя Белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо — икрыстые, задастые, ляжкастые да глазастые. Поэтому, как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые и налитые, что твои мячи, и это им по вкусу: любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш Мейстршик в круг и давай отнимать у одного гонведа самую хорошенькую девочку. Тот залопотал что-то, а Мейстршик как даст ему раза — тот и с катушек долой. Мы недолго думая схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу, а я крикнул ребятам: «Виноватый, невиноватый — крой всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. После этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке — у мужика одного на конце села. Этого выдала его девочка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего Мейстршика по уши и пошла с ним по направлению к Кираль-Хиде. Там по дороге сеновалы. Затащила его на сеновал, а потом потребовала с него пять крон, а он ей дал по морде. Мейстршик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные, а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку.

— Короче говоря, мадьяры — шваль, — закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

— Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

— Как это не виноват? — загорячился Водичка. — Каждый из них виноват, — сказал тоже! Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курсы. Еще в тот же день

после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь, в школу, и какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производятся измерения. «А завтра утром, говорит, у кого не будет все это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить». — «Черт побери, думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы: для того, чтобы удрать с фронта или чтобы вечерами чертить в тетрасточке карандашиком, чисто школьник?» Еле-еле я там высидел — такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза бы мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Кираль-Хиду и со злости только о том и думал, как бы найти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а бог располагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок: тихо, что в твоей часовне, все словно создано для скандала. Там сидели только двое, говорили между собой по-мадьярски. Это меня еще больше раззадорило, и я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спяна даже не заметил, что рядом находится еще такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар. Они на меня и надели, как только я съездил двум первым посетителям по морде. Мерзавцы гусары так, брат, меня отделали и так гоняли меня по всем садам, что я до самого утра не мог попасть домой, а когда наконец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал им, что свалился в кирпичную яму, и меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, пока спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Разве это люди? Скоты!

— Как аукнется, так и откликнется, — определил Швейк. — Нечего удивляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке, на месте, а потом тебя выбросить. Если б они свели с тобой счеты у стола, это и для них было бы лучше и для тебя. Знавал я одного кабатчика Пароубека в Либени. У него в кабаке перепился раз

можжевеловкой бродячий жестяник-словак и стал ругаться, что можжевеловка очень слабая, дескать, кабатчик разбавляет ее водой. «Если бы, говорит, я сто лет чинил проволокой старую посуду и на весь свой заработок купил бы можжевеловку и сразу бы все выпил, то и после этого мог бы еще ходить по канату, а тебя, Пароубек, носить на руках». И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут Пароубек этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил еще шестом, которым железные шторы опускают. Лупил до самой площади Инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь Инвалидов в Карлине до самого Жижкова, а оттуда через Еврейские Печи * в Малешице, где наконец сломал об него шест, а потом уж вернулся обратно в Либень. Хорошо. Но в горячке он забыл, что публика-то осталась в кабаке и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он наконец добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили порядок внутри кабака. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, на улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой Пароубек нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того как Пароубек их вытащил, они хотели заплатить ему по два крейцера: больше, мол, водки не выпили... Так-то наказуется горячность. Это все равно как на войне, брат, сперва противника разобьем, потом все за ним да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать...

— Я этих сволочей хорошо запомнил,— проронил Водичка.— Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусаров,— я с ними живо расправляюсь. Если уж нам, саперам, что-нибудь взбредет в голову, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то, что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Етцбахер, сволочь, другой такой на свете не сыщешь. И он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих,— немец, но хороший парень,— из-за него застрелился. Ну, мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Етцбахеру капут.

И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этак с пяток пуль. Живучий был, гадина, как кошка,— пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом, чего не вышло. Только пробормотал что-то, да так, брат, смешно—прямо умора! — Водичка засмеялся.— На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ — теперь он тоже у нас в саперах — рассказывал, что, когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта — тоже собаку порядочную,— который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята буд-то бы чуть не померли со смеху.

Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.

— Ты бы лучше подождал здесь,— сказал Швейк Водичке у подъезда дома,— я только сбегая на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.

— Оставить тебя одного? — удивился Водичка.— Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну...

— Послушай, Водичка,— серьезно сказал Швейк,— дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несю письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил все как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта, а теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной наверх.

— Плохо, Швейк, ты меня знаешь,— также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка.— Раз я тебе

сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее.

— А вот и нет, Водичка, сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь Некланову улицу на Вышеграде? У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тоничек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу».

— Только этого еще не хватало,— рассердился Водичка,— чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа, полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться.

— Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю. Ведь дело касается женщины.

— И ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах, на «Розовом острове», одна этакая харя не хотела со мной танцевать,— у меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостивара, но посуди сам, такое оскорбление от такой шлюхи! «Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорить, получить, чтобы вам обидно не было». Как я дал ей разок, она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами,— только кружки полетели. Но мне, брат, весь «Розовый остров» был нипочем. Были там знакомые ребята из Вршовиц, они мне и помогли. Излупили мы так пять семейств с ребятами вместе. Небось, и в Михле было слышать. Потом в газетах напечатали: «В таком-то саду, во время загородного гулянья, устроенного таким-то благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города...» А потому, как мне помогли, и я всегда своему то-

варищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты мадяров знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться; свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах...

— Ладно уж, пойдем вместе,— решил Швейк.— Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.

— Не беспокойся, товарищ,— тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице.— Я его ка-ак хрясну...— и еще тише прибавил:— Вот увидишь, с этой мадярской рожей не будет много работы.

И если бы в подъезде был кто-нибудь понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный Водичкой девиз: «Плохо, брат, ты мадяров знаешь!» — девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литавой, среди садов прославленной Кираль-Хиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Кираль-Хиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, на которых их теоретически подготавливали к практическим избиениям и резне.

*

Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Каконя. Раньше чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил:

— Ты когда-нибудь слышал пословицу, Водичка, что осторожность — мать мудрости?

— Это меня не касается,— ответил Водичка.— Не давай ему рот разинуть...

— Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, Водичка.

Швейк позвонил, и Водичка громко сказал:

— Айн-цвай — и полетит с лестницы.

Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски:

— Что вам угодно?

— Nem tudom¹, — презрительно ответил Водичка.—

Научись, девка, говорить по-чешски.

— Verstehen Sie deutsch?² — спросил Швейк.

¹ Не понимаю (венгерск.).

² Вы понимаете по-немецки? (нем.)

— A pischen ¹.

— Also, sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, dass ein Brief ist von einem Herr, draussen in Kong ².

— Я тебе удивляюсь,— сказал Водичка, входя вслед за Швейком в переднюю.— Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать?

Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил:

— Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика, а вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох.

Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку:

— Frau ist gesagt, dass Sie hat ka Zeit, wenn was ist, dass mir geben und sagen ³.

— Also,— торжественно сказал Швейк,— der Frau ein Brief, aber halten Kuschen ⁴.— Он вынул письмо поручика Лукаша.— Ich,— сказал он, указывая на себя пальцем,— Antwort warten hier in die Vorzimmer ⁵.

— Что же ты не сядешь? — сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены.— Вон стул. Стоит, точно нищий. Не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель, вот увидишь, но я, брат, его ка-ак хрясну...

— Послушай-ка,— спросил он после небольшой паузы,— где это ты по-немецки научился?

— Самоучка,— ответил Швейк.

Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рев: «Baszom az anyát, baszom az istenet, baszom a Kristus Mariát, baszom az atyádót, baszom a világot!» ⁶.

¹ Немножко (нем.).

² Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина (нем.).

³ Барыня сказала, что у нее нет времени; если что-нибудь нужно, передайте мне (нем.).

⁴ Письмо для барыни, но держите язык за зубами (нем.).

⁵ Я подожду ответа здесь, в передней (нем.).

⁶ Венгерская площадная ругань.

Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин во цвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом.

Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него:

— Was soll das heissen, wo ist der verfluchter Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat? ¹.

— Полегче,— остановил его Водичка, подымаясь со стула.— Особенно-то не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Да говори с ним поаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счета.

Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать.

— Мы слышали, что вы обедаете,— на ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил почешки: — Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда.

— Не унижайся,— сказал Водичка.

Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал: он сначала подумал, что в письме речь идет о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге.

— Здесь бы поместилось порядочно войск,— сказал Швейк.— Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться.

Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса и что он охотно служил бы и теперь, но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распушено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство, он опубликует его в газетах...

¹ Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо? (нем.)

— Сударь,— с достоинством сказал Швейк,— это письмо написал я. Ich geschrieben, kein Oberleutnant¹. Подпись подделана. Unterschrift, Namefalsch². Мне ваша супруга очень нравится. Ich liebe Ihre Frau³. Я влюблен в вашу жену по уши, как говорил Врхлицкий * — Kapitales Frau⁴.

Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапер Водичка, следивший за каждым движением Каконя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман, и не успел господин Каконь опомниться, как Водичка его сгреб, отнес к двери, открыл ее одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как... что-то загремело вниз по лестнице.

Случилось все это быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком.

От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда пять минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач.

— Принес вам салфеточку,— деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе.— Как бы на нее не наступили... Мое почтение!

Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал Водичка, совершенно гладко. Только дальше, у ворот, Швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Каконь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии.

Зато на улице было оживленно. Господина Каконя оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался

¹ Я написал, не обер-лейтенант (нсм.).

² Подпись, фамилия фальшивые (нсм.).

³ Я люблю вашу жену (нсм.).

⁴ Капитальная женщина (нсм.).

штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков,— солдаты как раз проходили мимо.

Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще и как в руках у него появилась трость какого-то оторопевшего зеваки (тесака у Швейка не было).

Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех.

Рядом с Водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал *corpus delicti*¹.

Швейк шел с довольным видом, держа палку, как ружье, на плече.

Старый сапер Водичка всю дорогу упрямо молчал. Только входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку:

— Говорил я, что ты мадяров плохо знаешь!

¹ Вещественное доказательство преступления (лат.).

ГЛАВА IV

НОВЫЕ МУКИ

Полковник Шредер не без удовольствия разглядывал бледное лицо и большие круги под глазами поручика Лукаша, который в смущении не глядел на полковника и украдкой, как бы изучая что-то, рассматривал план расположения воинских частей в лагере. План этот был единственным украшением в кабинете полковника. На столе перед полковником лежало несколько газет с отчеркнутыми синим карандашом статьями, которые он еще раз пробежал глазами. Пристально глядя на поручика Лукаша, полковник произнес:

— Итак, вам уже известно, что ваш денщик Швейк арестован и дело его, вероятно, будет передано дивизионному суду?

— Так точно, господин полковник.

— Но и этим, разумеется,— многозначительно сказал полковник, с удовольствием разглядывая побледневшее лицо поручика Лукаша,— вопрос не исчерпан. Здешняя общественность взбудоражена инцидентом с вашим денщиком Швейком, и вся эта история связывается с вашим именем, господин поручик. Из штаба дивизии к нам поступил материал по этому делу. Вот газеты, которые пишут об этом инциденте. Прочтите мне вслух.

Полковник передал Лукашу газеты с отчеркнутыми статьями, и поручик принялся монотонно читать, как будто читал фразу из детской книги для чтения: «Мед

значительно более питателен и легче переваривается, чем сахар».

— «В чем гарантия нашей будущей?»

— Это «Пестер-Ллойд»? * — спросил полковник.

— Так точно, господин полковник, — ответил поручик Лукаш и продолжал читать: — «Ведение войны требует совместных усилий всех слоев населения Австро-Венгерской монархии. Если мы хотим обеспечить безопасность нашего государства, то все нации должны поддерживать друг друга. Гарантия нашей будущей лежит в добровольном уважении одним народом другого народа. Громадные жертвы наших доблестных воинов на фронтах, где они неустанно продвигаются вперед, не были бы возможны, если бы тыл — эта хозяйственная и политическая артерия наших прославленных армий — не был сплоченным, если бы в тылу наших армий подняли голову элементы, разбивающие единство государства, своей злонамеренной агитацией подрывающие авторитет государственного целого и вносящие смуту в солидарность народов нашей монархии. В эти исторические минуты мы не можем молча смотреть на горстку людей, из соображений местного национализма пытающихся помешать дружной работе и борьбе всех народов нашей империи за справедливое возмездие тем негодьям, которые без всякого повода напали на нашу родину, чтобы отнять у нее все культурные ценности и достижения цивилизации. Мы не можем молча пройти мимо гнусных деяний лиц с нездоровой психологией, единственная цель которых — разбить единоплеменные наших народов. Мы уже неоднократно обращали внимание наших читателей на то обстоятельство, что военные власти вынуждены принимать самые строгие меры против отдельных личностей в чешских полках, которые, пренебрегая славными полковыми традициями, сеют своими нелепыми бесчинствами в наших мадьярских городах озлобление против всего чешского народа, который, как целое, ни в чем не повинен и который всегда твердо стоял на страже интересов нашей империи, свидетельством чего является целый ряд выдающихся полководцев, вышедших из среды чехов. Достаточно вспомнить славного фельдмаршала Радецкого и других защитников Австро-Венгерской державы! Этим светлым личностям противостоит кучка негодяев, вы-

шедших из подонков чешского народа, которые воспользовались мировой войной для того, чтобы вступить добровольцами в армию — с целью вызвать раздор среди народов монархии, удовлетворяя при этом свои низкие инстинкты. Мы уже обращали внимание читателей на дебоширство N-ского полка в Дебрецене, бесчинства которого были обсуждены и осуждены будапештским парламентом, полка, знамя которого позднее было на фронте... (Выпущено цензурой.) На чьей совести лежит этот позор?.. (Выпущено цензурой.) Кто втянул чешских солдат?.. (Выпущено цензурой.) До чего доходит дерзость пришлого элемента на нашей родной венгерской земле, лучше всего свидетельствует инцидент, имевший место в городе Кираль-Хиде на венгерском «островке» на Литаве. К какой национальности принадлежали солдаты из близлежащего военного лагеря в Мосте-на-Литаве, которые напали на тамошнего торговца, господина Дюлу Каконя, и избили его? Долг властей — расследовать это преступление и выяснить в командовании дивизии, которое, несомненно, уже занимается этим делом, какую роль в этой неслыханной травле подданных венгерского королевства играет поручик Лукаш, имя которого в городе связывается с событиями последних дней, как сообщил нам наш местный корреспондент, уже собравший богатый материал по этому делу, в нынешний ответственный момент являющемуся просто вопиющим. Читатели «Пестер-Ллойд», несомненно, будут с интересом следить за ходом следствия, и мы не преминем познакомить их ближе с этими событиями исключительной важности. Вместе с тем мы ждем официальных сообщений о кираль-хидском преступлении, совершенном против венгерского населения. Мы не сомневаемся, что будапештский парламент сам займется этим делом, чтобы наконец всем стало ясно, что чешские солдаты, следующие на фронт через венгерское королевство, не смеют рассматривать землю короны святого Стефана* как землю, взятую ими в аренду. Если же некоторые лица этой национальности, так ярко продемонстрировавшие в Кираль-Хиде «солидарность» всех народов Австро-Венгерской монархии, еще и теперь не учитывают ситуации, мы рекомендовали бы им угомониться, ибо в условиях военного времени пуля, петля, суд и штык заставят

их повиноваться высшим интересам нашей общей родины».

— Чья подпись под статьей, господин поручик?

— Редактора, депутата Белы Барабаша, господин полковник.

— Старая бестия! Но прежде чем эта статья попала в «Пестер-Ллойд», она была напечатана в «Пешти-Хирлап» *. Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещенной в шопроньской газете «Шопрони-Напло» *.

Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде: «веле-ние государственной мудрости», «государственный поряд-ок», «человеческая извращенность», «втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство», «пиршество каннибалов», «избиение лучших представителей общест-ва», «свора мамелюков», «закулисные махинации». Да-лее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других на-циональностей. Словно дело обстояло так: пришли чеш-ские солдаты, повалили редактора, били его своими сол-датскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то все застенографировал.

«О целом ряде серьезнейших фактов,— хныкала шоп-роньская газета «Шопрони-Напло»,— у нас благоразум-но умалчивают и ничего не пишут. Всякий знает, что та-кое чешский солдат в Венгрии и каков он на фронте. Всем нам известно, что вытворяют чехи, каковы настрое-ния среди чехов и чья рука видна здесь. Правда, бди-тельность властей отвлечена другими делами первосте-пенной важности, и, однако же, она должна надлежащим образом сочетаться с общим надзором, чтобы не повто-рилось то, чему мы на днях были свидетелями в Кираль-Хиде. Во вчерашней нашей статье пятнадцать мест было вычеркнуто цензурой. Нам не остается ничего другого, как только заявить, что и сегодня по техническим сооб-ражениям мы не имеем возможности широко осветить события в Кираль-Хиде. Посланный нами корреспондент убедился на месте, что власти энергично взялись за это дело и быстрым темпом ведут расследование. Удивляет нас только одно, а именно: некоторые участники этого истязания находятся до сих пор на свободе. Это касается

особенно того господина, который, по слухам, безнаказанно обретается в лагере и до сих пор носит петлицы своего «попугайского полка»*. Фамилия его была названа третьего дня в «Пестер-Ллойд» и в «Пешти-Напло». Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерпелляция депутатом от Кираль-Хидского округа Гезой Шавань».

— В таком же любезном тоне, господин поручик,— сказал полковник Шредер,— пишут о вас «Еженедельник», выходящий в Кираль-Хиде, и пресбургские * газеты. Но, я думаю, это вас уже не интересует, так как тут все на один лад. Политически это легко объяснимо, потому что мы, австрийцы,— будь то немцы или чехи,— все же еще здорово против венгров... Вы меня понимаете, господин поручик. В этом видна определенная тенденция. Скорее вас может заинтересовать статья в «Комарненской вечерней газете», в которой утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Каконь прямо в столовой во время обеда в присутствии ее супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. Это самое последнее известие о вас, господин поручик.— Полковник усмехнулся и продолжал: — Власти не исполнили своего долга. Предварительная цензура здешних газет тоже в руках венгров. Они делают с нами что хотят. Наш офицер беззащитен против оскорблений венгерского штатского хама-журналиста. И только после нашего резкого демарша, а может быть, телеграммы нашего дивизионного суда, государственная прокуратура в Будапеште предприняла шаги к тому, чтобы произвести аресты отдельных лиц во всех упомянутых редакциях. Больше всех поплатился редактор «Комарненской вечерней газеты», он до самой смерти будет помнить свою «Вечерку». Дивизионный суд поручил мне, как вашему начальнику, допросить вас и одновременно посылает мне материалы следствия. Все сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный Швейк. С ним находится какой-то сапер Водичка; когда того привели на гауптвахту после драки, при нем нашли письмо, посланное вами госпоже Каконь. Так этот ваш Швейк утверждал на допросе, что письмо не ваше, что это писал он сам,— когда же ему было приказано

переписать письмо, чтобы сравнить почерки, он ваше письмо сожрал. Тогда из полковой канцелярии были пересланы в дивизионный суд ваши рапорты для сравнения с почерком Швейка,— и вот вам результаты.

Полковник перелистал бумаги и указал поручику Лукашу на следующее место:

«Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать».

— Я, господин поручик, вообще не придаю никакого значения тому, что говорил в дивизионном суде ваш Швейк или этот сапер. И Швейк и сапер утверждают, что все произошло из-за какой-то пустячной шутки, которая была не понята, что на них самих напали штатские, а они отбивались, чтобы защитить честь мундира. На следствии выяснилось, что ваш Швейк вообще фрукт. Так, например, на вопрос, почему он не сознается, он, согласно протоколу, ответил: «Я нахожусь сейчас в таком же положении, в каком очутился однажды из-за икон девы Марии слуга художника Панушки. Тому тоже, когда дело коснулось икон, которые он собирался присвоить, ничего другого не оставалось ответить, кроме как: «Что же, мне кровью блевать, что ли?» Разумеется, я, как командир полка, позаботился о том, чтобы во все газеты от имени дивизионного суда было послано опровержение подлых статей, напечатанных в здешних газетах. Сегодня это будет разослано, и полагаю, что я, с своей стороны, сделал все, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал:

«Настоящим дивизионный суд N-ской дивизии и штаб N-ского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершенных солдатами N-ского полка бесчинствах, ни в какой степени не соответствует действительности и от первой до последней строки вымышлена. Следствие, начатое против вышеназванных газет, поведет к строгому наказанию виновных».

— Дивизионный суд в своем отношении, посланном в штаб нашего полка,— продолжал полковник,— прихо-

дит к тому заключению, что дело, собственно, идет о систематической травле, направленной против воинских частей, прибывающих из Цислейтании в Транслейтанию. Притом сравните, какое количество войск отправлено на фронт с нашей стороны и какое с их стороны. Скажу вам откровенно: мне чешский солдат более по душе, чем этот венгерский сброд. Стоит только вспомнить, как под Белградом венгры стреляли по нашему второму маршевому батальону, который, не зная, что по нему стреляют венгры, начал палить в дейчмейстеров*, стоявших на правом фланге, а дейчмейстеры тоже спутали и открыли огонь по стоящему рядом с ними боснийскому полку. Вот, скажу я вам, положеньице! Был я как раз на обеде в штабе бригады. Накануне мы должны были пробавляться ветчиной и супом из консервов, а в этот день нам приготовили хороший куриный бульон, филе с рисом и ромовые бабки. Как раз накануне вечером мы повесили в местечке сербского трактирщика, и наши повара нашли у него в погребе старое тридцатилетнее вино. Можете себе представить, как мы все ждали этого обеда. Покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка, потом пальба, и наша артиллерия, понятия не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала палить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербь, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон, а потом начали форсировать реку. Бригадного генерала зовут к телефону, и начальник дивизии поднимает страшный скандал, что это там за безобразие происходит на боевом участке бригады. Ведь он только что получил приказ из штаба армии начать наступление на сербские позиции на левом фланге в два часа тридцать пять минут ночи. Мы же являемся резервом и должны немедленно прекратить огонь. Ну, где там при такой ситуации «Feuer einstellen»¹. Бригадная телефонная станция сообщает, что никуда не может дозвониться, кроме как в штаб Семьдесят пятого полка, который передает, что он получил от ближайшей дивизии приказ «aushalten»², что он не может связаться с

¹ Прекратить огонь (нем.).

² Держаться до конца! (нем.)

нашей дивизией, что сербы заняли высоты 212, 226 и 327, требуется переброска одного батальона для связи, и необходимо наладить телефонную связь с нашей дивизией. Пытаемся связаться с дивизией, но связи нет, так как сербы пока что зашли с обоих флангов нам в тыл и сдали наш центр в треугольник, в котором оказались и пехота и артиллерия, обоз со всей автоколонной, продовольственный магазин и полевой лазарет. Два дня я не слезал с седла, а начальник дивизии попал в плен и наш бригадный тоже. А всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, разумеется, всю вину свалили на наш полк.— Полковник сплюнул.— Вы теперь сами, господин поручик, убедились, как они ловко использовали ваши похождения в Кираль-Хиде.

Поручик Лукаш смущенно кашлянул.

— Господин поручик,— обратился к нему интимно полковник,— положи руку на сердце, сколько раз вы спали с мадам Каконь?

Полковник Шредер был сегодня в очень хорошем настроении.

— Бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я, будучи на трехнедельных топографических курсах в Эгере, все эти три недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками. Каждый день с другой: с молодыми, незамужними, с дамами более солидного возраста, замужними,— какие подвернутся. Работал так добросовестно, что, когда вернулся в полк, еле ноги волочил. Больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки, укусила меня при этом за нос и за всю ночь не дала мне глаз сомкнуть...

«Начал переписываться»,— полковник ласково потрепал поручика по плечу.— Знаем мы это! Не говорите мне ничего, у меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый Швейк... Знаете, господин поручик, этот Швейк все же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитание! Это мне в парне нравится. Ввиду всего этого следствие непременно должно быть приостановлено.

новлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы — самый старший офицер в одиннадцатой роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде все уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо Швейка.

Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал:

— Швейка я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца.

Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал:

— Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи! Желаю вам отличиться на Восточном фронте. Если еще когда-нибудь увидимся, заходите, не избегайте нас, как в Буйдейовицах...

По дороге домой поручик Лукаш все время повторял про себя: «Ротный командир, ротный ординарец».

И перед ним вставал образ Швейка.

Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванеку подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал:

— А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком, — и, услышав, что полковник назначил Швейка ординарцем одиннадцатой роты, воскликнул: — Господи помилуй!

*

В арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в семь часов утра и принимались за уборку матрацев, валявшихся прямо на грязном полу: нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяла; те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей (те, что пришли с фронта), либо коротали время рассказами о всяких приключениях.

Швейк вместе со старшим сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери.

— Посмотрите-ка, ребята,— сказал Водичка,— на венгерского молодчика у окна, как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?

— За что? Он хороший парень,— сказал Швейк.— Попал сюда потому, что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то, а посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится божьей заповеди. Ну, так ему эту божью заповедь покажут! Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрава. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье: носить ружье — это-де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он — нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял-таки на своем.

— Вот дурак,— сказал старый сапер Водичка,— мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на все. И на присягу тоже.

— Я уже три раза присягал,— отозвался один пехотинец,— и в третий раз сию за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я пятнадцать лет назад в приступе помешательства уколошил свою тетку, меня бы уж раза три расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым.

— А накой ты уколошил свою тетеньку? — спросил Швейк.

— Накой люди убивают,— ответил тот,— каждому ясно: из-за денег. У этой старухи было пять сберегательных книжек, ей как раз прислали проценты, когда я, ободраный и оборванный, пришел в гости. Кроме нее, у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла, а она — стерва! — иди, говорит, работать, ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Ну, слово за слово, я ее стукнул несколько раз кочергой по голове и так разделал физию, что уж и сам не мог узнать: тетенька это или не тетенька? Сию я у нее там на полу и все приговариваю: «Тетенька или не тетенька?» Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на Слу-

пах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице* на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы.

Мимо них прошел худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке.

— Это учитель из нашей маршевой роты, — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. — Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил.

— Эй, учитель! Поди-ка сюда, — окликнул он солдата с веником.

Тот с серьезным видом подошел к скамейке.

— Расскажи-ка нам про вшей.

Солдат с веником откашлялся и начал:

Весь фронт во вшах. И с яростью скребется
То нижний чин, то ротный командир.
Сам генерал, как лев, со вшами бьется
И, что ни миг, снимает свой мундир.
Вшам в армии квартира даровая,
На унтеров им трижды наплевать.
Вошь прусскую, от страсти изнывая,
Австрийский вшивец валит на кровать.

Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул:

— Вот и все. И из-за этого я уже четыре раза был на допросе у господина аудитора.

— Собственно, дело ваше выеденного яйца не стоит, — веско заметил Швейк. — Все дело в том, кого они там в суде будут считать старым австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчет кровати. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец и что на самку-вошь может лезть только самец-вшивец. Иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, — это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения, и так же как свинья-самец называется боров, так самца вши называют вшивцем.

Учитель тяжело вздохнул.

— Что ж делать, если этот самый господин аудитор не знает как следует чешского языка. Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился. «Замец фжи по-чешски зовет фожак, завсем не фшивец», — заявил господин аудитор.— Femininum, Sie gebildeter Kerl, ist «он фож». Also Maskulinum ist «она фожак». Wir kennen uns're Rappenheimer¹.

— Короче говоря,— сказал Швейк,— ваше дело дрянь, но терять надежды не следует, как говорил цыган Янечек в Пльзени, когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа; все может повернуться к лучшему! И он угадал: в последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье: на третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что во всем виновен другой Янечек. Ну, пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище, а потом...

— Потом я тебе заеду в морду,— отозвался старый сапер Водичка.— Чего только этот парень не выдумает! У человека на шее висит дивизионный суд, а он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то иерихонской розы.

— Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки Матей старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил: «Возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет,— это и есть иерихонская роза!» Я этой ерунды не придумывал,— защищался Швейк,— но нужно же было о чем-нибудь пого-

¹ Женский род — эх вы, а еще образованный человек — есть «он фож». А мужской род есть «она фожак». Мы знаем своих паппенгеймцев! * (нем.)

ворить, раз мы вместе идем на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка.

— Уж ты развлечешь! — презрительно сплюнул Водичка. — Тут ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи, да как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодьями, а он утешает каким-то коровьим дерьмом.

А как я расквитаюсь с теми мадьярскими сопляками, сидя тут взаперти? Да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Эх, скажу я вам, собачья жизнь! Ну, да еще попадетсЯ ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр! Я его раздавлю, как кутенка! Я ему покажу «*istem ald meg a magyart*»¹, я с ним рассчитаюсь, будет он меня помнить!

— Нечего нам беспокоиться, — сказал Швейк, — все уладится. Главное — никогда на суде не говорить правды. Кто дает себя околпачить и признается, тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал в Моравской Острове, там произошел такой случай. Один шахтер с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, все время говорил, чтобы он отпирался, ему ничего за это не будет, а председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтер гнул свою линию: не сознается — и баста! Его освободили, потому что он доказал свое алиби: в этот самый день он был в Брно...

— Иисус Мария! — крикнул взбешенный Водичка. — Я больше не выдержу! На кой черт ты все это рассказываешь, никак не пойму! Вчера с нами на допросе был один точь-в-точь такой же. Аудитор спрашивает, кем он был до военной службы, а он отвечает: «Поддувал у Креста». И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувал мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили: «Так что же, вы у него в ученье?» — он понес: «Так точно... одно мученье...»

В коридоре слышались шаги и возглас караульного:

¹ Благослови, боже, мадьяров (начало венгерского национального гимна).

— Zuwachs¹.

— Опять нашего полку прибыло! — радостно воскликнул Швейк. — Авось он припрятал окурки.

Дверь открылась, и в барак втокнули вольноопределяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будейовицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил:

— Во веки веков, аминь!

Вольноопределяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил наземь одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и роздал их. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки, чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил:

— Я обвиняюсь в том, что поднял восстание.

— Пустяки, — успокоил его Швейк, — ерунда.

— Разумеется, — сказал вольноопределяющийся, — если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации.

— А как же ты поднял восстание?! — спросил сапер Водичка, с симпатией глядя на вольноопределяющегося.

— Отказался чистить нужники на гауптвахте, — ответил вольноопределяющийся. — Повели меня к самому полковнику. Ну, а тот — отменная свинья. Стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит и от такого позора еще не перестала вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольноопреде-

¹ Пополнение (нем.).

ляющегося, имеющий право на офицерское звание и который тем не менее своими поступками может вызвать только омерзение у начальства. Я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольноопределяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее наших вольноопределяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется несколько странным, из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадет мерзлая свекла. А потом как заорет на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?!» — «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». — «Нет, будете, несчастный вольнопер!» — «Никак нет, не буду!» — «Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а сто нужников!» — «Никак нет. Не вычищу ни ста, ни одного нужника!» И пошло и пошло! «Будете чистить?» — «Не буду чистить!» Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Моудрой * для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии как угорелый, наконец сел и сказал: «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольноопределяющимся, расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили двух вольноопределяющихся десятой роты, а одного из девятой пристрелили, как ягненка. А за что? За упрямство! Те двое, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабачного «чужака» *, а вольноопределяющийся девятой роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекали ноги и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете?» — «Никак нет, не буду!» Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» — «Никак нет!»

После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже.

— Самое лучшее,— сказал Швейк,— выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто: начал корчить душевнобольного с тяжелой наследственностью и на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать, его всегда тянет куда-то далеко; раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения; мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки, младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах * перерезал себе куском стекла сонную артерию; двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа. За его воспитанием никто не следил, и до десяти лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было шесть месяцев и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головой. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознает, что делает, именно в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу, и только позднее, когда его арестовала «У Флеков» * военная полиция, пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы; и человек пять солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке:

Отец — алкоголик. Мать — проститутка.

I. Сестра (утопилась).

II. Сестра (поезд).

III. Брат (с моста).

IV. Дедушка † жену, керосин, поджог.

V. Бабушка (цыгане, спички) † и т. д.

Один из них начал болтать все это штабному врачу и не успел еще перевалить через двоюродного брата, штабной врач (это был уже третий случай!) прервал его: «А твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа, за твоим воспитанием — лодырь ты этакий! — никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских ротах». Ну, отвели в тюрьму, связали в козлы — и с него как рукой сняло и плохое воспитание, и отца-алкоголика, и мать-проститутку, и он предпочел добровольно пойти на фронт.

— Нынче,— сказал вольноопределяющийся,— на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность, а то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом.

В окованной железом двери лязгнул ключ, и вошел профос.

— Пехотинец Швейк и сапер Водичка — к господину аудитору!

Оба поднялись, Водичка обратился к Швейку:

— Вот мерзавцы, каждый божий день допрос, а толку никакого! Уж лучше бы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантрапа кругом бегают...

По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапер Водичка обсуждал со Швейком, когда же наконец они предстанут перед настоящим судом.

— Допрос за допросом,— выходил из себя Водичка,— и хоть бы какой-нибудь толк вышел. Изведут уйму бумаги, сгниешь за решеткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Ну скажи по правде, можно ихний суп жрать? А ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал! Я представлял себе все это совсем иначе.

— А я доволен,— сказал Швейк.— Еще несколько лет назад, когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солпера говаривал нам: «На военной службе каждый должен знать свои обязанности!» И,

бывало, съездит так тебе при этом по морде, что долго не забудешь! А покойный обер-лейтенант Квайзер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам: солдаты только скот, государство их кормит, поит кофеем, отпускает табак,— и за это они должны тянуть лямку, как волю.

Сапер Водичка задумался и немного погодя сказал:

— Швейк, когда придешь к аудитору, лучше не завирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь как теперь ни крути, а мы все это делали с тобой сообща.

— Не бойся, Водичка,— успокаивал его Швейк.— Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного,— подумаешь, какой-то там дивизионный суд! Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Герал, так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии-Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно, по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по пяти талеров. Само собой,— прибавил Швейк солидно,— полки тогда были больше и их постоянно пополняли в деревнях.

— Когда я был в Сербии,— сказал Водичка,— то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать «чужаков», платили сигаретами: повесит солдат мужчину — получает десяток сигарет «Спорт», женщину или ребенка — пять. Потом интендантство стало наводить экономию: расстреливали всех гуртом. Со мною служил цыган, мы долго не знали, что он этим промышляет. Только удивлялись, отчего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на Дрине. И как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах, а у этого хама в вещевом мешке — целых три коробки сигарет «Спорт» по сто штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним корот-

кую расправу: повалили его, и Белоун удавил его ремнем. Живуч был, негодяй, как кошка.— Старый сапер Водичка сплюнул.— Никак не могли его удавить. Уж он обделался, глаза у него вылезли, а все еще был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его, совсем как кошку: двое за голову, двое за ноги, и перекрутили ему шею. Потом надели на него его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его, где поглубже, в Дрину. Кто их станет курить, такие сигареты! А утром начали его разysкивать...

— Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал, — авторитетно присовокупил Швейк, — мол, давно к этому готовился: каждый день говорил, что удержит.

— Охота нам была об этом думать, — ответил Водичка.— Мы свое дело сделали, а дальше не наша забота. Там это было очень легко и просто; каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из Дрины не вылавливали. Премило плыли по Дрине в Дунай раздутый «чужак» рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит в первый раз, — в дрожь бросает, чисто в лихорадке.

— Им надо было хины давать, — сказал Швейк.

С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию № 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер.

Перед ним лежал том Свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками.

Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия, к новой скорби распятого бога, а другою отдираал стакан с чаем, приклеившийся к Своду законов.

Высвободив стакан из объятий Свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании.

Это была книга Фр. С. Краузе с многообещающим

заглавием: «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral»¹.

Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Фр. С. Краузе в уборных берлинского Западного вокзала, и не заметил вошедших.

Он оторвался от репродукций только после того, как Водичка кашлянул.

— Was geht los?² — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — ответил Швейк, — коллега Водичка простудился и кашляет.

Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и Водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.

— Наконец-то притащились, — проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. — Я приказал вас позвать на девять часов, а теперь без малого одиннадцать. Как ты стоишь, осел? — обратился он к Водичке, осмелившемуся стать «вольно». — Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами, что хочешь.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — отозвался Швейк, — он страдает ревматизмом.

— Держи язык за зубами! — разозлился аудитор Руллер. — Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже три раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду я это дело наконец или не найду? Досталось мне с вами, негодяями, хлопот! Ну, да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой!

Так слушайте, байстрюки, — прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное:

SCHWEJK UND WODITSCHKA³

— Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной

¹ «Исследование по истории эволюции половой морали» (нем.).

² В чем дело? (нем.)

³ Швейк и Водичка (нем.).

тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии.— Аудитор вздохнул.— Что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк? — продолжал он.— На фронте у тебя пропадет охота драться с гонведами. Дело ваше прекращается, каждый пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке, а потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи! Я вас так проучу, не обрадуетесь! Вот вам ордер на освобождение и ведите себя прилично. Отведите их во второй номер.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор,— сказал Швейк,— мы ваши слова запечатаем в сердцах, премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили.

— Убирайтесь ко всем чертям!— заорал на Швейка аудитор.— Не вступись за вас полковник Шредер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось.

Водичка почувствовал себя старым Водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию № 2.

Солдат, сопровождавший их, боялся опоздать к обеду.

— Ну-ка, ребята, прибавьте маленько шагу. Тащите, словно вши,— сказал он.

В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся, пусть скажет спасибо, что он чех, а будь он мадьяр, Водичка разделал бы его, как селедку.

Так как военные писари ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покамест отвести Швейка и Водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятий с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей.

— Друзья-приятели опять снимут весь жир с моего супа,— вопил он трагически,— а вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот я тоже конвоировал двоих в ла-

герь, а кто-то тем временем сожрал полпайка, который получили за меня.

— Вы тут, в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чем не думаете,— сказал совсем воспрявший духом Водичка.

Когда Швейк и Водичка рассказали вольноопределяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул:

— Так, значит, в маршевую роту, друзья! «Попутного ветра»,— как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении и с легким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далекой чужбине, как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те края, о которых еще старый Гумбольдт * сказал: «Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция!» Богатый и ценный опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно, явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!

После обеда, перед уходом Швейка и Водички, в канцелярии к ним подошел злополучный учитель, сложивший стихотворение о вшах, и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал:

— Не забудьте, когда будете на русской стороне, сразу же сказать русским: «Здравствуйте, русские братья, мы братья чехи, мы нет австрийцы».

При выходе из барака Водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не мог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал на него:

— Обуйся, прохвост!

— Жалко,— с неудовольствием сказал сапер Водичка Швейку,— что он ничего не ответил. Зря не отве-

тил. Я бы его мадьярскую харю разорвал от уха до уха. А он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Черт возьми, Швейк, злость берет, что меня не осудили! Этак выходит, что над нами вроде как насмеются, что это дело с мадьярами гроша ломаного не стоит. А ведь мы дрались, как львы. Это ты виноват, что нас не осудили, а дали такое удостоверение, будто мы и драться по-настоящему не умеем. Собственно, за кого они нас принимают? Что ни говори, это был вполне приличный конфликт.

— Милый мой,— добродушно сказал Швейк,— я что-то не понимаю, отчего тебя не радует, что дивизионный суд официально признал нас абсолютно приличными людьми, против которых он ничего не имеет. Правда, я при допросе всячески вывертывался, но ведь «так полагается», как говорит адвокат Басс своим клиентам. Когда меня аудитор спросил, зачем мы ворвались в квартиру господина Каконя, я ему на это ответил просто: «Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каконем, если будем ходить к нему в гости». После этого аудитор больше ни о чем меня не спрашивал, этого ему оказалось вполне достаточно.

— Запомни раз навсегда,— продолжал Швейк свои рассуждения,— перед военными судьями признаваться нельзя. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, один солдат из соседней камеры признался, а когда остальные арестанты об этом узнали, они устроили ему темную и заставили отречься от своего признания.

— Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался,— сказал сапер Водичка.— Ну, а если меня этот тип аудитор прямо спросил: «Дрались?»— так я ему и ответил: «Да, дрался». «Избили кого-нибудь?»— «Так точно, господин аудитор». «Ранили кого-нибудь?»— «Ясно, господин аудитор». Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас освободили! Выходит, он не поверил, что я об этих мадьярских хулиганов измочалил свой ремень, что я их в лапшу превратил, наставил им шишек и фонарей. Ты ведь был при этом, помнишь, как на меня разом навалились три мадьярских холуя, а через минуту все валялись на земле, и я топтал их ногами. И после этого ка-

кой-то сморкач аудитор прекращает следствие. Все равно как если бы он сказал мне: «Дерьмо всякое, а лезет еще драться!» Вот только кончится война, буду штатским, я его, растяпу, разыщу и покажу, как я не умею драться! Потом приеду сюда, в Кираль-Хиду, и устрою такой мордобой, какого свет не видал: люди будут прятаться в погреба, заслышав, что я пришел посмотреть на этих кираль-хидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев!

В канцелярии с делом покончили в два счета. Фельдфебель с еще жирными после обеда губами, подавая Швейку и Водичке бумаги, сделался необычайно серьезным и не преминул произнести перед ними речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою (он был силезский поляк) фельдфебель уснастил перлами своего диалекта, как-то: «marekvium», «glupi rolmopsie», «krajcová sedmina», «sviřla porúpaná» и «dum vám baně na mjesjnuckovu vaří gzychty»¹.

Каждого отправляли в свою часть, и Швейк, прощаясь с Водичкой, сказал:

— Как кончится война, зайди проведать. С шести вечера я всегда «У чаши» на Боиште.

— Известно, приду,— ответил Водичка.— Там скандал какой-нибудь будет?

— Там каждый день что-нибудь бывает,— пообещал Швейк,— а уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим.

Друзья разошлись, и, когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, старый сапер Водичка крикнул Швейку:

— Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду!

В ответ Швейк закричал:

— Непременно приходи после войны!

Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:

— Швейк! Швейк! Какое «У чаши» пиво?

Как эхо, отозвался ответ Швейка:

¹ Морковные обжоры, глупые рольмопсы, трефовая семерка, грязная свинья, влеплю вам затрещины в ваши лунообразные морды (польск.).

— Великопоповицкое!

— А я думал, смиховское!— кричал издали сапер Водичка.

— Там и девочки есть!— вопил Швейк.

— Так, значит, после войны в шесть часов вечера!— орал Водичка.

— Приходи лучше в половине седьмого, на случай если запоздаю!— ответил Швейк.

И еще раз донесся издали голос Водички:

— А в шесть часов прийти не сможешь?!

— Ладно, приду в шесть!— услышал Водичка голос удаляющегося товарища.

Так разлучились бравый солдат Швейк и старый сапер Водичка.

Wenn die Leute auseinander gehen,
Da sagen sie auf Wiedersehen¹.

¹ Друзья в минуту расставанья с надеждой шепчут: «До свиданья» (нем.).

ГЛАВА V

ИЗ МОСТА-НА-ЛИТАВЕ В СОКАЛЬ

Поручик Лукаш в бешенстве ходил по канцелярии одиннадцатой маршевой роты. Это была темная дыра в ротном сарае, отгороженная от коридора только досками. В канцелярии стояли стол, два стула, бутылъ с керосином и койка.

Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалованье, вел отчетность по солдатской кухне,— одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как Крконош *. Это был Балоун, новый денщик поручика, до военной службы мельник из-под Чешского Крумлова.

— Нечего сказать, нашли вы мне денщика,— обратился поручик Лукаш к старшему писарю,— большое вам спасибо за такой сюрприз! В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину.

— Виноват, я разлил,— сказал толстенный великан.

— Допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркого принес такой кусочек, что его за ноготь засунуть можно. Ну, а куда ты дел яблочный рулет?

— Я...

— Нечего врать. Ты его сожрал!

Последнее слово поручик произнес так строго и та-

ким устрашающим тоном, что Балоун невольно отступил на два шага.

— Я справлялся в кухне, что у нас сегодня было на обед. Был суп с фрикадельками из печенки. Куда ты девал фрикадельки? Повытаскивал их по дороге? Ясно как день. Затем была вареная говядина с огурцом. А с ней что ты сделал? Тоже сожрал. Два куса франкфуртского жаркого, а ты принес только полкусочка! Ну? Два куса яблочного рулета. Куда они делись? Нажрался, паршивая, грязная свинья! Отвечай, куда дел яблочный рулет? Может, в грязь уронил? Ну, мерзавец! Покажи мне, где эта грязь. Ах, туда, как будто ее звали, прибежала собака, нашла этот кусок и унесла?! Боже ты мой, Иисусе Христе! Я так набью тебе морду, что ее разнесет, как бочку! Эта грязная свинья осмеливается еще врать! Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришел ко мне и говорит: «Осмелюсь доложить, господин поручик, этот сукин сын, Балоун, жрет ваш обед. Смотрю я в окно, а он напихивает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел». Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот молодчик?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из всей нашей маршевой роты Балоун показался мне самым порядочным солдатом. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного ружейного приема, и дай ему винтовку, так он еще бед натворит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. Я полагал, что по крайней мере эту службу он сможет исполнять.

— Каждый день сжирать обед своего офицера! — воскликнул Лукаш. — Как будто ему не хватает своей порции. Ну, теперь ты сыт, я полагаю?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остается хлеб — я тут же вымениваю его на сигареты, и все мне мало, такой уж я уродился. Ну, думаю, теперь уж я сыт — ан нет! Минуту спустя у меня в животе снова начинает урчать, будто и не ел вовсе, и, глядь, он, стерва, желудок то есть, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж взаправду хватит, больше в меня уже не влезет, так нет тебе! Как увижу, что кто-то ест, или почую соблазни-

тельный запах, сразу в животе, точно его помелом вывели, опять он начинает заявлять о своих правах. Я тут готов хоть гвозди глотать! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уж просил: нельзя ли мне получить двойную порцию? По этой причине я был в Будейовицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на два дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. «Я,— говорит,— покажу тебе, каналье, как быть голодным. Попробуй приходи сюда еще раз, так уйдешь отсюда, как щепка». Я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин обер-лейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы гарнир давали: картошку, кнедлики, немножко соуса, это ведь всегда остается.

— Довольно с меня твоих наглых выходов!— ответил поручик Лукаш.— Видали вы когда-нибудь, старший писарь, более нахального солдата, чем этот балбес: сожрал обед, да еще хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию. Этот обед ты запомнишь! Старший писарь,— обратился он к Ванеку,— отведите его к капралу Вейденгоферу, пусть тот покрепче привяжет его на дворе около кухни на два часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается у колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Идемте, Балоун.

Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Балоуна, победоносно провозгласил:

— Ну что? Добился своего? Приятного аппетита! А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передач в военно-полевой суд!

Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал:

— Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать та-

ких вещей, но я не могу поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и узнают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают что им вздумается.— Измученный поручик тихо продолжал:— Позавчера во время ночных маневров мы должны были действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вел, но второй, который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Пели, стучали ногами так, что в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге на рекогносцировку местности около леса шел третий взвод. От нас по крайней мере десять минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят: повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, черт знает каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступить перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталась мне в наследство одиннадцатая маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать! Как они будут вести себя во время настоящего боя?

При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся.

— Вы на это, господин поручик, не обращайтесь внимания,— старался успокоить его старший писарь Ванек,— не ломайте себе голову. Я был уже в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все эти маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна из них ни на волосок не была лучше вашей, господин оберлейтенант. Хуже всех была девятая. Та потянула с собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином и они проделали все это без меня. А знаете ли

вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала к Нейзидлерскому озеру? Марширует себе до самого утра, а разведочные патрули — так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнер. Они дошли бы до самого Шопроня, если б не рассвело! — сообщил конфиденциально старший писарь: ему нравилось смаковать подобные происшествия; ни одно из них не ускользнуло от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона? По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров, а потом будто бы пришел в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера...

Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету.

Обо всем этом он уже знал и был убежден, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошел его по службе. Однако Лукаш только проронил:

— Не в капитане Сагнере дело...

— Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь. — Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну роту за другой на сербские позиции под обстрел пулеметов, несмотря на то, что это было совершенно гиблое дело и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только восемьдесят человек; сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился еще дизентерией и только после этого появился у нас в полку в Будейовицах. А вчера он будто бы распространялся в собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит *signum laudis*¹. За свою деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом, но теперь или ляжет костями со всем маршевым батальоном, или будет произведен в подполковни-

¹ Знак отличия (лат.).

ки, а маршевому батальону придется туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером и что он в первую очередь пошлет в бой нашу одиннадцатую роту, в самые опасные места.

Старший писарь вздохнул.

— Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою *, когда был в десятой маршевой роте. Тогда все сошло гладко, пришел приказ «nicht schießen!»¹, мы и не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела, только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты-ополченцы, и они так испугались русских, что начали удирать под гору по снегу — прямо как по льду. Ну, мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из десятой маршевой роты. К вечеру их прибыло сто двадцать человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на тобогане*. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант! У русских в Карпатах были позиции и внизу и наверху... А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер...

— Оставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером! — сказал поручик Лукаш. — Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что, когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело.

— Это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить: обед нам приносили на гору холодный, в окопах — снег, огонь разводить нельзя, нас

¹ Не стрелять! (нем.)

только ром и поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому и люди замерзали. Но зато у нас от рому покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведку посылать тех солдат, у которых носы красные.

— Теперь зима уже прошла,— многозначительно проронил поручик.

— Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, поддерживают хорошее настроение. За полкотелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. И какая это скотина опять стучит в дверь, на дверях же написано «Nicht klopfen!»¹

— Herein!²

Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо, приложив руку к козырьку, в канцелярию одиннадцатой маршевой роты вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь, еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись «Nicht klopfen!»

Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел, как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца.

Поручик Лукаш на мгновение зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверно, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь,—заговорил Швейк так просто и непринужденно, что поручик Лукаш сразу пришел в себя.

С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания.

Каждое утро поручик убеждал себя: «Сегодня он не появится. Наверно, опять чего-нибудь натворил, его еще там подержат».

¹ Не стучать! (нем.)

² Войдите! (нем.)

Но все эти расчеты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением.

Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели.

— Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалованья и зачисления на довольствие.

В канцелярии одиннадцатой маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко:

— Положите их на стол.

— Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних,—сказал со вздохом поручик Лукаш.

Ванек ушел и остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить.

Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть; он словно хотел его загнипнотизировать.

Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой». Так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотце мое, вымолви хоть словечко!»

Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную долю иронии:

— Добро пожаловать, Швейк! Благодарю за визит. Наконец-то вы у нас, долгожданный гость.

Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалованье. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал:

— Скотина!

Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк, между тем как поручик Лукаш все бежал по канцелярии и в исступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу,— письмо, стало быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Каконь, и могу сказать, что это весьма интересная женщина, правда, я видел ее в слезах...

Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул:

— Когда же этому придет конец, Швейк?

Швейк, сделав вид, что недослышал, ответил:

— Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и, для того чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом по чистой случайности—иначе это никак не объяснить!— я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше полчаса. Но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию и что я там просижу больше пятнадцати минут. А сидел я там потому, что мне задержали жалованье, которое должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно.

Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шредера, поручик стал быстро одеваться.

— Опять удружили вы мне, Швейк!— произнес он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что

Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику:

— Ничего, господин полковник подождет, ему все равно нечего делать.

Минуту спустя после ухода поручика в канцелярию вошел старший писарь Ванек.

Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним, но наконец не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот убирался отсюда.

— Господин старший писарь,—с достоинством произнес Швейк,—позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я здесь ординарец,—гордо добавил Швейк.—Господин полковник Шредер прикомандировал меня к одиннадцатой маршевой роте, к господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время?

Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, панибратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка:

— У меня аптекарский магазин в Кралупах. Фамилия моя Ванек.

— Я тоже учился аптекарскому делу,—ответил Швейк,—в Праге, у пана Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. А вы тоже готовили целебные травы для коров?

Ванек отрицательно покачал головой.

— Мы приготовляли целебные травы для коров вместе с освященными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-

то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так, по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эмаузский монастырь, где их освятили за двести золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в теплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот вечером наш старик Кокошка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в десять часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию: коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух: если сочинит хорошую—он ему гульден на бочку выложит, нет—через две недели получит расчет. Пан Таухен целую ночь потел, утром, не выспавшись, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того: он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и еще обучал нас другим способам подрабатывать. И у меня, мальчишки, дома была такая аптека—я ее из лавки в дом к себе натаскал,—какой не было и «У милосердных»*. Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте,—говорит,—взглянуть». Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него. Не успел я еще принести пива, а уж у Фердинанда половина дела была сделана, и он прочел нам:

Голос с неба раздается,
Утихает суета:
У Кокошки продается
Чудо-корень для скота!
Исцелит сей корешочек
(Только гульден за мешочек!)
И теляток и коров
Безо всяких докторов.

Потом, когда Фердинанд выпил пива и основательно нализался желудочных капель на спирту, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил:

Этот корень нашел сам святой Пилигрим.
И за это ему мы хвалу воздадим:
Ты крестьянам — утеха, коровам — отрада,
Сохрани и спаси наше бедное стадо!

Затем, когда пришел пан Кокошка, пан Таухен пошел с ним в контору, а выйдя оттуда, показал нам два золотых, а не один, как ему было обещано. Он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом, но слугу Фердинанда, когда тот увидел эти два золотых, сразу обуял бескорыстолюбия: «Или все, или ничего!» Ну, тогда пан Таухен ему ничего не дал, а оставил эти два золотых себе. Потом привел меня в магазин, дал мне подзатыльник и сказал, что я получу сто таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что сочинил не он. А если Фердинанд пойдет жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд — лгун. Мне пришлось в этом присягнуть перед бутылкой с эстрагоновым уксусом. Ну, а наш слуга принялся вымещать свою злобу на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он отовсюду, где только находил, сметал мышинное дерьмо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катышки, сушил их дома, толоч в ступке для кореньев и тоже подбрасывал в коровьи целебные травы с образом святого Пилигрима. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом все это размешивал. Вышло вроде каши с отрубями...

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подбежал к телефонному аппарату и с отвращением отбросил трубку.

— Надо идти в полковую канцелярию. Так внезапно... Это что-то мне не нравится.

Швейк опять остался один.

Через минуту снова раздался звонок.

Швейк начал телефонный разговор:

— Ванек?.. Он ушел в полковую канцелярию. Кто у телефона?.. Ординарец одиннадцатой маршевой роты.

А кто там у телефона?.. Ординарец двенадцатой роты? Мое почтение; коллега. Моя фамилия?.. Швейк. А твоя? Браун! Это не твой ли родственник Браун на Набережной улице в Карлине, шляпочник? Нет? Не знаешь такого... Я тоже с ним незнаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. Что новенького?.. Я ничего не знаю. Когда едем? Я еще ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать?

— Вот олух! С ротой на фронт.

— Об этом я еще ничего не слышал.

— Нечего сказать—хорош ординарец! А что твой лейтенант?

— Не лейтенант, а обер-лейтенант.

— Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошел на совещание к полковнику?

— Он его туда позвал.

— Ну вот видишь: и наш туда пошел и командир тринадцатой роты тоже. Я только что говорил с ихним ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка. А не знаешь, музыкантская команда укладывается?

— Ничего не знаю.

— Не валяй дурака! Говорят, ваш старший писарь уже получил накладную на вагоны. Правда ведь? Сколько у вас солдат?

— Не знаю.

— Эх ты, глупая башка, что я, съем тебя, что ли? (Было слышно, как говоривший у телефона обратился к кому-то поблизости: «Франта, возьми вторую трубку, услышишь, какой в одиннадцатой роте дурак ординарец».) Алло! Спишь ты там, что ли? Так отвечай, когда тебя коллега спрашивает. Значит, ты еще ничего не знаешь? Не скрытничай. Разве старший писарь не говорил, что вам будут выдавать консервы? Ты с ним о таких вещах не говоришь? Вот дубина! Тебя это не касается? (Слышен смех.) Тебя словно мешком по голове ударили. Ну, как только что-нибудь узнаешь, ты нам сейчас же позвони в двенадцатую маршевую роту, дурачок родимый! Откуда ты?

— Из Праги.

— Ты бы должен быть чуточку поумнее. Да, вот еще. Когда ушел из канцелярии ваш старший писарь?

— Только что.

— Вот оно как. А раньше-то не мог мне об этом сказать! Наш тоже только что ушел. Там что-то заваривается. С обозом не говорил еще?

— Нет.

— Господи Иисусе Христе! А говоришь — из Праги! Ни о чем не заботишься! И где только ты шляешься целый день?

— Я только с час тому назад пришел из дивизионного суда.

— Это другой коленкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть! Давай отбой два раза.

Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. «Ну вас к черту с вашим телефоном,— подумал Швейк,— стану я с вами трепаться».

Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка наконец лопнуло терпение, он взял телефонную трубку и заорал:

— Алло! Кто у телефона? Здесь ординарец одиннадцатой маршевой роты Швейк.

Швейк узнал голос поручика Лукаша.

— Что вы все там делаете? Где Ванек? Немедленно позовите к телефону Ванека!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, телефон только что зазвонил.

— Послушайте, Швейк, мне некогда с вами дурака валять! Телефонные разговоры на военной службе — это вам не телефонная болтовня, когда кого-нибудь зовут на обед. Телефонный разговор должен быть ясен и краток. При телефонных разговорах отбрасывается «осмелюсь доложить», «обер-лейтенант». Итак, я вас спрашиваю, Швейк, Ванек там? Пусть немедленно подойдет к телефону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, под рукой его нет. Его только что, может, и четверти часа не будет, из нашей канцелярии вызвали в полковую канцелярию.

— Вот я с вами расправлюсь! Не можете вы выражаться кратко? Слушайте внимательно, что я сейчас

буду говорить! Все ясно? Чтобы вы потом не отговаривались, будто в телефоне что-то хрипело. Немедленно, как только повесите трубку...

Пауза.

Снова звонок.

Швейк берет телефонную трубку, и его осыпают градом ругательств.

— Скотина, хулиган, мерзавец! Что вы делаете? Почему прервали разговор?

— Вы изволили сказать, чтобы я повесил трубку.

— Через час я вернусь домой. Не обрадуютесь вы у меня! Немедленно собирайтесь и отправляйтесь в барак, найдите там какого-нибудь взводного, хотя бы Фукса, и скажите ему, чтобы он сейчас же взял десять солдат и шел с ними на склад получать консервы. Повторите, что он должен сделать.

— Идти с десятью солдатами на склад получать консервы для роты.

— Наконец-то вы не валяете дурака. Я пока что позвоню Ванеку в полковую канцелярию, чтобы он тоже шел на склад принять консервы. Если же он тем временем вернется в барак, пусть бросает все и бежит на склад. А теперь повесьте трубку.

Швейк довольно долго и тщетно искал взводного Фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным Балоуном, который, правда, всей ступней стоял на земле; его пожалели. Зрелище было презанятное. Один из поваров принес Балоуну ребро и сунул ему прямо в рот. Привязанный бородатый великан Балоун не имел возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту, удерживая ее с помощью зубов и десен. Словно леший.

— Кто здесь из вас взводный Фукс? — спросил Швейк, найдя наконец унтеров.

Взводный Фукс не счел нужным отозваться, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец.

— Ясно говорят вам, — крикнул Швейк, — долго я еще буду вас спрашивать?! Где здесь взводный Фукс?

Взводный Фукс выступил вперед и с достоинством начал всячески обкладывать Швейка: он-де не взводный,

а господин взводный и нельзя орать: «Где взводный?», а следует обращаться: «Осмелюсь доложить, здесь ли находится господин взводный?» В его взводе, если кто забудет сказать: «Ich melde gehorsam»¹, — немедленно получает в морду.

— Осторожней на повороте! — рассудительно предостерег Швейк. — Немедленно собирайтесь, идите в барак, возьмите там десять человек и бегом марш вместе с ними на склад получать консервы.

Взводный был так ошеломлен, что смог выговорить только:

— Чего?..

— Без всяких там «чего», — ответил Швейк. — Я ординарец одиннадцатой маршевой роты и только что разговаривал по телефону с господином обер-лейтенантом Лукашем, и тот приказал: «Бегом марш с десятью рядовыми на склад». Если вы не пойдете, господин взводный Фукс, так я немедленно вернусь обратно к телефону. Господин обер-лейтенант требует во что бы то ни стало, чтобы вы шли. Не может быть никаких разговоров! «Телефонный разговор, — говорит поручик Лукаш, — должен быть ясен и краток». Если сказано идти взводному Фуксу, то взводный Фукс должен идти! Такой приказ — вам не какая-то там болтовня, когда кого-нибудь к обеду зовут. На военной службе, особенно во время войны, каждое промедление — преступление. «Если этот самый взводный Фукс сию же минуту не пойдет, как только вы ему об этом объявите, так вы мне немедленно телефонируйте, и я с ним разделаюсь! От взводного Фукса останется только мокрое место!» Плохо вы, милейший, знаете господина обер-лейтенанта!

Швейк победоносно оглядел унтер-офицеров, которые были поражены и уничтожены его выступлением.

Взводный Фукс пробурчал что-то невразумительное и быстро ушел. Швейк закричал ему вдогонку:

— Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что все в порядке?

— Немедленно буду с десятью солдатами на складе, — ответил взводный Фукс, уже подойдя к бараку.

¹ Осмелюсь доложить (нем.).

А Швейк, не произнеся ни слова, ушел, оставив унтер-офицеров, ошеломленных не меньше, чем взводный Фукс.

— Начинается! — сказал низенький капрал Блажек. — Начнем паковать.

*

Швейк вернулся в канцелярию одиннадцатой маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш.

— Где вы шляетесь, Швейк? Звоню уже третий раз, и никто не отзывается.

— Разыскивал, господин обер-лейтенант.

— Что, уже пошли?

— Конечно, пошли, но еще не знаю, пришли ли они туда. Может быть, еще раз сбегать?

— Вы нашли взводного Фукса?

— Нашел, господин обер-лейтенант. Вначале он мне сказал «чего?», и только когда я ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен...

— Не дурачьтесь, Швейк!.. Ванек еще не вернулся?

— Не вернулся, господин обер-лейтенант.

— Да не орите вы так в трубку! Не знаете, где теперь может быть этот проклятый Ванек?

— Не знаю, господин обер-лейтенант, где может быть этот проклятый Ванек.

— Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушел. Может, в кantine?.. * Отправляйтесь к нему, Швейк, и передайте, чтобы он немедленно шел на склад. Да вот еще что: найдите немедленно капрала Блажека и скажите, чтобы он тотчас же отвязал Балоуна, и пошлите Балоуна ко мне. Повесьте трубку.

Швейк действительно принялся хлопотать, нашел капрала Блажека и передал ему приказание поручика отвязать Балоуна. Капрал Блажек заворчал:

— Когда туго приходится, робеть начинают!

Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать Балоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к кantine, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека.

Балоун смотрел на Швейка как на своего спасителя, и обещал ему, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому.

— У нас скоро будут резать свинью, — меланхолически сказал Балоун. — Ты какую свиную колбасу любишь: с кровью или без крови? Скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило. Голова у ней, как у бульдога, а такие свиньи — самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет! Сала на ней — пальцев на восемь. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так, бывало, налопаешься фаршу, что чуть не лопнешь. Прошлогодняя свинья была на сто шестьдесят кило. Вот это свинья так свинья! — с восторгом сказал он на прощание, крепко пожимая руку Швейку. — А выкормил я ее на одной картошке и сам диву давался, как она у меня быстро жирела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой!.. Пальчики оближешь! После этого и пиво пьется с удовольствием!.. Что еще нужно человеку? И все это у нас отняла война.

Бородатый Балоун тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к кantine.

Старший писарь Ванек с блаженным видом сидел в кantine и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках.

Штабной писарь был вдребезги пьян. Днем приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и все утро до обеда угощал его в городе.

Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии оттого, что у него пропал аппетит, не соображал, о чем идет речь, а на трактат об эмалевых красках и вовсе не реагировал.

Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти из Тршебони в Пельгржимов, а потом обратно.

Когда вошел Швейк, Ванек попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на одном килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил:

— На обратном пути он умер, оставив после себя только письма.

Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного ему человека и начал обзывать его чревоушателем.

Швейк подошел к Ванеку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил.

— Господин старший писарь,— отрапортовал ему Швейк,— немедленно идите на склад, там вас уже ждет взводный Фукс с десятью рядовыми, и получайте консервы. Ноги в руки, бегом — марш! Господин обер-лейтенант телефонировал уже дважды.

Ванек рассмеялся:

— Деточка моя, что я, идиот? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой! Времени на все хватит. Над нами ведь не каплет, золотце мое! Пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я, а тогда и разговаривает; небось, тогда он ни к кому не будет зря приставать со своим «бегом марш!». Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем, надо укладываться и немедленно получать на дорогу провиант. А ты думаешь, что сделал я? Я самым спокойным манером зашел сюда выпить четвертинку вина. Сидится мне здесь спокойно, и пусть все идет своим чередом. Консервы останутся консервами, выдача — выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант. Я разбираюсь в том, что говорится на совещаниях господ офицеров у господина полковника. Ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или одалживали в других полках, с которыми оказывались в близости. Одному только Бенешовскому полку мы должны больше трехсот банок консервов. Хе, хе! Пусть на совещаниях они говорят, что им вздумается. Куда спешить? Ведь все равно, когда наши придут туда, каптенармус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна мар-

шевая рота не получила на дорогу консервов. Так, что ли, старая картошка? — обратился он к штабному писарю.

Тот, очевидно, засыпал, или с ним случился небольшой припадок белой горячки, только он ответил:

— Она шла, держа над собой раскрытый зонт.

— Самое лучшее, — продолжал старший писарь Ванек, — махнуть на все рукой. Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, — этому и малый ребенок не поверит. Разве мы можем уехать без вагонов? При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона, точь-в-точь как с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда два дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедет. Даже сам полковник ничего не знал. Мы уж всю Венгрию проехали, а все еще никто не знал: поедет мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии. А были мы просто какой-то заплатой. Пришили нас наконец где-то у Дуклы. Там нас разбили наголову, и мы снова поехали формироваться. Только не торопиться! Со временем все выяснится, а пока нечего спешить. Jawohl, pochamol!¹ Вино у них здесь замечательное, — продолжал Ванек, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь:

— *Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich über diese Frage*².

— Чего же попусту беспокоиться об отъезде маршевого батальона? У первой маршевой роты, с которой я ехал, все было готово за два часа, и все оказалось в полном порядке. Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых два дня, а наш ротный командир, лейтенант Пршеносил (франт такой был), нам прямо сказал: «Ребята, не спешите!» — и все шло как по маслу. Только за два часа перед отходом поезда мы начали укладываться. Самое лучшее — подсаживайтесь...

— Не могу, — с геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк. — Я должен идти в канцелярию. Что, если кто-нибудь позвонит?

¹ Да, еще раз! (нем.)

² Поверьте, до сих пор я видел в жизни мало хорошего. Меня удивляет этот вопрос (нем.).

— Ну, так идите, мое золотце. Но только запомните раз навсегда, что это некрасиво с вашей стороны и что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не относитесь столь рьяно к своим обязанностям. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя. Так-то, душенька.

Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты.

Ванек остался в одиночестве — никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушел в себя и бормотал, умиленно глядя четвертинку вина, самые удивительные вещи без всякой связи между собой, то по-чешски, то по-немецки:

— Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen Doktor gemacht¹. Я стал старым калекой. Благодарю вас, Люси. Erscheinen sie in schön ausgestatteten Bänden²,— может быть, найдется среди вас кто-нибудь, кто помнит это?

Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго скучать ему не пришлось: дверь открылась, вошел повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул.

— Нам сегодня дали приказ,— залопотал он,— получить на дорогу коньяк. Но в нашей бутылке еще оставался ром, и нам пришлось ее опорожнить. Здорово пришлось-таки приналечь! Вся кухонная прислуга — в лежку! Я обсчитался на несколько порций. Полковник опоздал, и ему не хватило. Поэтому ему теперь делают омлет. Вот, я вам скажу, комедия!

— Занятная авантюра,— заметил Ванек, который за вином всегда любил вставить красивенькое словцо.

Повар Юрайда принялся философствовать, что отвечало его бывшей профессии. Перед войной он издавал

¹ Через полгода я сдам государственные экзамены и получу степень доктора (нем.).

² Если они появятся в хороших переплетах (нем.).

окультурный журнал и серию книг под названием «Загадки жизни и смерти». На военной службе он примазался к полковой офицерской кухне, и, когда, бывало, увлечется чтением древнеиндийских сутр Прагна Парамита * («Откровения мудрости»), у него частенько подгорало жаркое.

Полковник Шредер ценил его как полковую достопримечательность. Действительно, какая офицерская кухня могла бы похвалиться поваром-окультуристом, который, заглядывая в тайны жизни и смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу, что смертельно раненный под Комаровом подпоручик Дуфек все время звал Юрайду.

— Да,—сказал ни с того, ни с сего еле державшийся на стуле Юрайда: от него на десять шагов разило ромом.— Когда сегодня не хватило на господина полковника и когда он увидел, что осталась только тушеная картошка, он впал в состояние гаки. Знаете, что такое «гаки»? Это состояние голодных духов. И вот тогда я ему сказал: «Обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно: выдержать то, что на вашу долю не хватило телячьей почки? В карме * предопределено, чтобы вы, господин полковник, сегодня на ужин получили божественный омлет с рубленой тушеной телячьей печенкой».

— Милый друг,—после небольшой паузы обратился он вполголоса к старшему писарю, сделав при этом произвольный жест рукой и опрокинув все стоявшие перед ним на столе стаканы,— существует небытие всех явлений, форм и вещей,—мрачно произнес после всего содеянного повар-окультурист.— Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, форма неотделима от небытия. То, что является небытием, является и формой, то, что есть форма, есть небытие.

Повар-окультурист погрузился в молчание, подпер рукой голову и стал созерцать мокрый, облитый вином стол.

Штабной писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца:

— Хлеб исчез с полей, исчез — in dieser Stimmung erhielt er Einladung und ging zu ihr¹, праздник троицы бывает весной.

Старший писарь Ванек продолжал барабанить по стóлу, пил и время от времени вспоминал, что у продовольственного склада его ждут десять солдат во главе со взводным.

При этом воспоминании он улыбался и махал рукой.

Вернувшись поздно в канцелярию одиннадцатой маршевой роты, он нашел Швейка у телефона.

— Форма есть небытие, а небытие есть форма, — произнес он с трудом, завалился одетый на койку и сразу уснул.

Швейк неотлучно сидел у телефона, так как два часа назад поручик Лукаш по телефону сообщил ему, что он все еще на совещании у господина полковника, но сказать, что Швейк может отойти от телефона, забыл.

Потом со Швейком по телефону говорил взводный Фукс, который вместе с десятью рядовыми напрасно все это время ждал старшего писаря. И только теперь разглядел, что склад заперт.

Наконец Фукс ушел куда-то, и десять рядовых один за другим вернулись в свой барак.

Время от времени Швейк развлекался тем, что снимал телефонную трубку и слушал. Телефон был новейшей системы, недавно введенной в армии, и обладал тем преимуществом, что можно было вполне отчетливо слышать чужие телефонные разговоры по всей линии.

Обоз переругивался с артиллерийскими казармами, саперы угрожали военной почте, полигон ругал пулеметную команду.

А Швейк, не вставая, все сидел да сидел у телефона...

Совещание у полковника продолжалось.

Полковник Шредер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчеркивал значение гранатометчиков.

Перескакивая с пятого на десятое, он говорил о расположении фронта два месяца тому назад на юге и на во-

¹ В таком настроении он получил приглашение и пошел к ней (нем.).

стоке, о важности тесной связи между отдельными частями, об удушливых газах, о стрельбе по неприятельским аэропланам, о снабжении солдат на фронте и потом перешел к внутренним взаимоотношениям в армии.

Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов к унтер-офицерам, о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что пятьдесят процентов чешских солдат *politisch verdächtig*¹.

— *Jawohl, meine Herren, der Kramarsch, Scheiner und Klófatsch...*²

Офицеры в своем большинстве во время доклада думали о том, когда наконец старый пустомеля перестанет нести эту белиберду, но полковник продолжал гордиться всякий вздор о новых задачах новых маршевых батальонов, о павших в бою офицерах полка, о цепелинах, проволочных заграждениях, присяге...

Тут поручик Лукаш вспомнил, что в то время, когда весь маршевый батальон присягал, brave солдат Швейк к присяге приведен не был, так как в те дни сидел в дивизионном суде.

При этом воспоминании он вдруг рассмеялся.

Это было что-то вроде истерического смеха, которым он заразил нескольких офицеров, сидевших рядом. Его смех привлек внимание полковника, только что заговорившего об опыте, приобретенном при отступлении германских армий в Арденнах. Смешав все это в одну кучу, полковник закончил:

— Господа, здесь нет ничего смешного.

Потом все отправились в Офицерское собрание, так как полковника Шредера вызвал к телефону штаб бригады.

Швейк дремал у телефона, когда его вдруг разбудил звонок.

— Алло! — послышалось в телефоне.— У телефона *Regimentskanzlei*.

— Алло! — ответил Швейк.— Здесь канцелярия одиннадцатой роты.

¹ Политически неблагонадежны (нем.).

² Да, господа, Крамарж, Шейнер и Клофач...* (нем.)

— Не задерживай,— послышался голос,— возьми карандаш и пиши. Прими телефонограмму. Одиннадцатой маршевой роты...

Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили двенадцатая и тринадцатая маршевые роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец все утихло, и Швейк разобрал:

— Алло! Алло! Повтори и не задерживай!

— Что повторить?

— Что повторить, дубина! Телефонограмму!

— Какую телефонограмму?

— Черт побери! Глухой ты, что ли? Телефонограмму, которую я продиктовал тебе, балбес!

— Я ничего не слышал, здесь еще кто-то вмешался в наш разговор.

— Осел ты, и больше ничего! Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду? Примешь ты телефонограмму или нет? Есть у тебя карандаш и бумага? Что?.. Нет?.. Скотина! Мне ждать, пока ты найдешь? Ну и солдаты пошли!.. Ну, так как же? Может, ты еще не подготовился? Наконец-то раскачался! Так слушай: 11. *Marschkumpanie*¹. Повтори!

— 11. *Marschkumpanie*.

— *Kumpaniekommandant*...² Есть?.. Повтори!

— *Kumpaniekommandant*...

— *Zur Besprechung morgen*...³ Готов? Повтори!

— *Zur Besprechung morgen*...

— *Um neun Uhr*.— *Unterschrift*⁴. Понимаешь, что такое *Unterschrift*, обезьяна? Это подпись! Повтори это!

— *Um neun Uhr*.— *Unterschrift*. Понимаешь... что... такое *Unterschrift*, обезьяна, это подпись.

— Дурак! Подпись: *Oberst Schröder*⁵, скотина! Есть? Повтори!

¹ Одиннадцатой маршевой роты (нем.).

² Ротному командиру (нем.).

³ Завтра утром на совещание (нем.).

⁴ В девять часов.— Подпись (нем.).

⁵ Полковник Шредер (нем.).

— Oberst Schröder, скотина...

— Наконец-то, дубина! Кто принял телефонограмму?

— Я.

— Himmelherrgott!¹ Кто это — «я»?

— Швейк. Что еще?

— Слава богу, больше ничего. Тебя надо было назвать «Осел». Что у вас там нового?

— Ничего нет. Все по-старому.

— Тебе, небось, все нравится? Говорят, у вас сегодня кого-то привязывали?

— Всего-навсего денщика господина обер-лейтенанта: он у него обед слопал. Не знаешь, когда мы едем?

— Это, брат, вопрос!.. Старик и тот этого не знает. Спокойной ночи! Блох у вас там много?

Швейк положил трубку и принялся будить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся; когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. Потом перевернулся на живот и стал брыкаться.

Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего особенного,— ответил Швейк,— я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму: завтра в девять часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание к господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать это сейчас, немедленно, или завтра утром. Я долго колебался: стоит мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели... А потом решил, куда ни шло: ум хорошо, два лучше...

— Ради бога, прошу вас, не мешайте спать,— завопил Ванек, зевая во весь рот,— отправляйтесь туда утром и не будите меня!

Он повернулся на бок и тотчас заснул.

Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок.

— Алло! Одиннадцатая маршевая рота?

— Да, одиннадцатая маршевая рота. Кто там?

¹ А, чтобы тебя черт подрал! (нем.)

— Тринадцатая маршевая рота. Алло! Который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станцией. Что-то долго не идут меня сменять.

— У нас часы стоят.

— Значит, как и у нас. Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией?

— Там ни хрена не знают, как и мы.

— Не грубите, барышня! Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт.

— Наши тоже пришли с пустыми руками.

— Зря только панику подымают. Как думаешь, куда мы поедем?

— В Россию.

— А я думаю, что, скорее, в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште. Если нас повезут направо — так Сербия, а налево — Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалованье повысят. А ты играешь в три листика? Играешь — так приходи завтра. Мы наряжаем каждый вечер. Сколько вас сидит у телефона? Один? Так наплюй на все и ступай дрыхать. Странные у вас порядки! Ты, небось, попал как кур во щи. Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье!

Швейк и в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался: ему никак не удавалось дозвониться до одиннадцатой маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до двенадцати часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделана противотифозная прививка.

Поручик Лукаш все еще сидел в Офицерском собрании с военным врачом Шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием об пол и произносил при этом следующие фразы:

«Сараџинский султан Салах-Эддин первый признал нейтральность санитарного персонала.

Следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат.

Каждая сторона должна покрыть расходы за лекарство и лечение другой стороне.

Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам.

Точно так же попавших в плен раненых следует под охраною и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю.

Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать, их следует отправлять в безопасные места, в госпитали.

Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Все это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно».

Доктор Шанцлер уже сломал при этом два кия и все еще не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения.

Поручик Лукаш допил свой черный кофе и пошел домой, где нашел бородатого великана Балоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке.

— Я осмелился,— заикаясь, сказал Балоун,— я позволил себе, осмелюсь доложить...

Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Балоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неуголимый аппетит.

— Жарь, жарь, Балоун,— сказал он, отстегивая саблю,— с завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба.

Поручик сел к столу. И вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете.

«Милая тетушка!

Только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой ротой. Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе. Повсюду идут

жестокие бои, наши потери велики. И мне трудно закончить это письмо словом «до свидания»; правильнее написать «прощай».

«Докончу завтра утром»,— подумал поручик Лукаш и пошел спать.

Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Балоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью; он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Балоун испугался,— поручик зашевелился во сне,— быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих.

Потом потихоньку пошел посмотреть, что написал поручик.

Прочел и был тронут, особенно словом «прощай».

Он лег на свой соломенный матрац у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней.

Балоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемо яркую картину, как он прокалывает тлаченку*, чтобы из нее вышел воздух: иначе во время варки она лопнет.

При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и разварилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном.

Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу, пропала буженина и для ливерных колбас не хватает лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Брукена-Лейте.

*

Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое взшло в благоухании сгущенного кофе, доносившемся из всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний моцион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идет к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кла-

дет его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничихе:

Подавай, старуха, кашу,
Да попотчуй гостью нашу!

Мельничиха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия.

Утром мельник встал чуть свет,
На дверях прочел куплет:
«Потеряла в эту ночь
Честь девичью ваша дочь».

Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила: старший писарь Ванек проснулся и спросил:

— Который час?

— Только что играли утреннюю зорю.

— Встану уж после кофе,— решил Ванек: торопиться было не в его правилах,— и без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами.— Ванек зевнул и спросил: — Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?

— Так кое-что невпопад,— сказал Швейк.— Вы все время рассуждали сами с собой о каких-то формах: мол, форма не есть форма, а то, что не есть форма, есть форма, и та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу захрапели, словно пила в работе.

Швейк замолчал, дошел до двери, опять повернул к койке старшего писаря, остановился и начал:

— Что касается меня лично, господин старший писарь, то когда я слышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Затке. Он служил на газовой станции на Летне, в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Просвещенный был человек, он ходил по разным ночным кабачкам на Летне: ведь от зажигания до гашения фонарей времени хватает. Утром на газовой станции он вел точь-в-точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так: «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра и грани я». Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привел меня за несоблюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию.

В конце концов,— добавил Швейк тихо,— Затка этот кончил очень плохо. Вступил он в конгрегацию святой

Марии, ходил с небесными козами на проповеди патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь и, когда к святому Игнатию приехали миссионеры, забыл погасить все газовые фонари в своем районе, так что там беспрерывно три дня и три ночи горел газ на улицах.

Беда,— продолжал Швейк,— когда человек вдруг примется философствовать,— это всегда пахнет белой горячкой. Несколько лет тому назад к нам из Семьдесят пятого полка перевели майора Блюгера. Тот, бывало, раз в месяц соберет нас, выстроит в каре и начнет вместе с нами философствовать: «Что такое офицерское звание?» Он ничего, кроме сливянки, не пил. «Каждый офицер, солдаты,— разъяснял он нам на казарменном дворе,— сам по себе является совершеннейшим существом, которое наделено умом в сто раз большим, чем вы все вместе взятые. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер, даже если будете размышлять над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо необходимое, в то время как вы, рядовые, случайный элемент, ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны и вы пали бы за государя императора — прекрасно. От этого немногое бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер, тогда бы вы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и сколь велика ваша потеря. Офицер должен существовать, и вы своим существованием обязаны только господам офицерам; вы от них происходите, вы без них не обойдетесь, вы без начальства и пернуть не можете. Офицер для вас, солдаты, закон нравственности — все равно, понимаете вы это или нет,— а так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас, солдаты, является только офицер, которому вы себя чувствуете — и должны чувствовать — обязанными во всем, и каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет».

А однажды, после того как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим:

«Что ты чувствуешь, когдахватишь лишнего?»

Ну, ему отвечали как-то нескладно: дескать, или еще никогда до этого не доходило, или всякий раз, как хва-

тишь лишнего, начинает тошнить, а один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Майор Блюгер тут же приказал отвести всех в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказание за то, что не умеют выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чем он распространялся в последний раз, и когда майор подошел ко мне, я совершенно спокойно ему ответил:

«Осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнее, то всегда чувствую внутри какое-то беспокойство, страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение».

Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал:

«По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке! Он еще острит, сукин сын!»— и вкатил мне такие шпангли— мое почтение!

— На военной службе иначе нельзя,— сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке,—это уж так исстари ведется: как ни ответь, как ни сделай— всегда над тобой тучи и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины!

— Правильно сказано,— заявил Швейк.— Никогда не забуду, как посадили рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает: кто откуда? «Перво-наперво, желторотые,— обратился он к ним,— вы должны научиться отвечать коротко и ясно, точно кнутом щелкнуть. Итак, начнем. Откуда вы, Пех? Пех был интеллигентный малый и ответил так: «Нижний Боусов, Unter Bautzen, двести шестьдесят семь домов, тысяча девятьсот тридцать шесть чешских обывателей, округ Ичин, волость Сobotка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь святой Екатерины, построенная в четырнадцатом столетии и реставрированная графом Вацлавом Вратиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, шесть ярмарок в году...»

Лейтенант Моц кинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая: «Вот тебе первая ярмарка, вот тебе другая, третья, четвертая, пятая, шестая...» А Пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на

батальонный рапорт. В канцелярии была тогда развешенная шатия. Ну, и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Рогелль. «Also, was gibts?»¹ — спросил он Пеха, а тот выпалил: «Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове шесть ярмарок в году». Ну, здесь майор Рогелль на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвести в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из Пеха самый что ни на есть последний солдат, — не солдат, а одно наказание.

— Солдата воспитать — дело нелегкое, — сказал, зевая, старший писарь Ванек. — Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке. Теперь как раз наоборот: самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими. Помню я рядового из восьмой маршевой роты Сильвануса. У того, бывало, что ни день — то наказание. Да какие наказания! Не стыдился украсть у товарища последний крейцер. А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, трех взял в плен и одного тут же по дороге застрелил, — дескать, он не внушал мне доверия. Он получил большую серебряную медаль, нашили ему две звездочки, и, если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов штук восемь и много колец. Повесили у штаба бригады.

— Из этого видно, — глубокомысленно заметил Швейк, — что каждый солдат сам должен завоевывать себе положение.

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошел к телефону. Можно было разобрать голос поручика

¹ Итак, в чем дело? (нсм.)

Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй.

— Правда же, их нет, господин обер-лейтенант!— кричал в телефон Ванек.— Откуда им там взяться, это только фантазия интендантства. Совсем напрасно было посылать туда людей. Я хотел вам телефонировать. Я был в кантине? Кто сказал? Повар-окультист из офицерской кухни? Действительно, я позволил себе туда зайти. Знаете, господин обер-лейтенант, как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами? «Ужас нерожденного». Никак нет, господин обер-лейтенант, я совершенно трезв. Что делает Швейк? Он здесь. Прикажете его позвать?.. Швейк, к телефону!— крикнул старший писарь и шепотом добавил:— Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, что в полном порядке.

Швейк у телефона:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у телефона Швейк.

— Послушайте, Швейк, как обстоит дело с консервами? Все в порядке?

— Нет их, господин обер-лейтенант. Ни слуху ни духу.

— Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом. А когда поедем,— неотлучно будете находиться при мне. Что вы делали ночью?

— Неотлучно сидел у телефона.

— Были какие-нибудь новости?

— Были, господин обер-лейтенант.

— Швейк, не валяйте опять дурака. Сообщали что-нибудь важное, срочное?

— Так точно, господин обер-лейтенант, но только к девяти часам.

— Что же вы сразу мне об этом не доложили?

— Не хотел вас беспокоить, господин обер-лейтенант, не смел об этом и помыслить.

— Так говорите же,— черт вас дерит!— что предстоит в девять часов?!

— Телефонграмма, господин обер-лейтенант.

— Я вас не понимаю.

— Я это записал, господин обер-лейтенант. Примите

телефонограмму. Кто у телефона?.. Есть? Читай... Или еще что-то в этом роде...

— Черт вас побери, Швейк! Мука мне с вами... Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что... Ну?!

— Опять какое-то совещание, господин обер-лейтенант, сегодня в девять часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал.

— Еще бы вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды, на это и утром времени достаточно. *Wieder eine Besprechung, der Teufel soll das alles buserieren!*¹ Опустите трубку, позовите к телефону Ванека.

— Старший писарь Ванек у телефона. *Rechnungsfeldwebel Vanek, Herr Oberleutnant*².

— Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балоун за ночь сожрал у меня весь шоколад. Привязать? Нет, отдадим его в санитары. Дитина, косая сажень в плечах,— пусть таскает раненых с поля сражения. Сейчас же и пошлю его к вам. Устройте все это в полковой канцелярии немедленно и тотчас же возвращайтесь в роту. Как, по-вашему, скоро мы тронемся?

— Торопиться некуда, господин обер-лейтенант. Когда мы отправлялись с девятой маршевой ротой, нас целых четыре дня водили за нос. С восьмой то же самое. Только с десятой дела обстояли лучше. Мы были в полной боевой готовности, в двенадцать часов получили приказ, а вечером уже ехали, но зато потом нас гоняли по всей Венгрии и не знали, какую дыру на каком фронте заткнуть нами.

С тех пор как поручик Лукаш стал командиром одиннадцатой маршевой роты, он находился в состоянии, называемом синкретизмом,— по имени той философской системы, которая старалась примирить противоречия понятий путем компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов.

А поэтому он ответил:

— Да, может быть, это и так. По-вашему, мы сегодня не тронемся? В девять часов совещание у полковни-

¹ Опять совещание, черт их дери всех! (нем.)

² Старший писарь фельдфебель Ванек, господин обер-лейтенант (нем.).

ка. Да, кстати, знаете о том, что вы дежурный? Я только так. Составьте мне... Подождите, что, бишь, должны вы мне составить? Список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит... Потом провиант для роты. Национальность? Да, да, и национальность... А главное, пришлите мне нового денщика. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Подготовиться к отправке. Счета?.. Приду подписать после обеда. В город никого не отпускайте. В кантину, в лагерь? После обеда на час... Позовите сюда Швейка... Швейк, вы пока останетесь у телефона.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я еще не пил кофе.

— Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока я вас не позову. Знаете, что такое ординарец?

— Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант.

— Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позволю. Напомните еще раз Ванеку, чтобы нашел для меня какого-нибудь денщика. Швейк! Алло! Где вы?

— Здесь, господин обер-лейтенант, мне только что принесли кофе.

— Швейк! Алло!

— Я слушаю, господин обер-лейтенант. Кофе совсем холодный.

— Вы, Швейк, хорошо знаете, что такое денщик, поговорите с ним, а потом скажете мне, что он собой представляет. Повесьте трубку.

Ванек, прихлебывая черной кофе, в который подлил рома из бутылки с надписью «Tinte»¹, сделанной из предосторожности, посмотрел на Швейка и сказал:

— Наш обер-лейтенант так кричит в телефон, что я разобрал каждое слово. По всему видать, вы близко знакомы с господином обер-лейтенантом, Швейк?

— Я его правая рука. Рука руку моет. Попадали мы с ним в переделки. Сколько раз нас хотели разлучить, а мы опять сходились. Он на меня во всем полагается. Сколько раз я сам этому удивлялся. Вот вы только что слышали, как он сказал, чтобы я вам еще раз напомнил

¹ Чернила (нсм.).

о том, что вы должны ему найти нового денщика, а я должен поговорить с ним и дать о нем отзыв. Господину обер-лейтенанту не каждый денщик угодит.

*

Полковник Шредер вызвал на совещание всех офицеров маршевого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шредером в дивизионный суд.

Из арестантского отделения дивизионного суда он только вчера ночью был переведен на гауптвахту, где и находился под стражей. Одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идет не о бунте, так как вольноопределяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого обвиняемый вольноопределяющийся Марек опять отсылается в свой полк, а следствие о нарушении дисциплины приостанавливается до конца войны и будет возобновлено в случае нового проступка вольноопределяющегося Марека.

Предстояло еще одно дело. Одновременно с вольноопределяющимся Марекком из арестантского дивизионного суда был переведен на гауптвахту самозванец, взводный Тевелес, который недавно появился в полку, куда был послан из загребской больницы. Он имел большую серебряную медаль, нашивки вольноопределяющегося и три звездочки. Он рассказывал о геройских подвигах шестой маршевой роты в Сербии и о том, что от всей роты остался один он. Следствием было установлено, что с шестой маршевой ротой в начале войны действительно отправился какой-то Тевелес, который, однако, не имел прав вольноопределяющегося. Была затребована справка от бригады, к которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована шестая маршевая рота, и было установлено, что в

списке представленных к награде и награжденных серебряными медалями никакого Тевелеса нет. Был ли, однако, рядовой Тевелес во время белградского похода произведен во взводные — выяснить не удалось, ввиду того что вся шестая маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после битвы у церкви св. Саввы в Белграде пропала без вести. В дивизионном суде Тевелес оправдывался тем, что действительно ему была обещана большая серебряная медаль и что поэтому он купил ее у одного босняка. Что касается нашивок вольноопределяющегося, то их он себе пришил в пьяном виде, а продолжал носить потому, что пьян был постоянно, ибо организм его ослабел от дизентерии.

Открыв собрание, прежде чем приступить к обсуждению этих двух вопросов, полковник Шредер указал, что перед отъездом, который уже не за горами, следует почаще встречаться. Из бригады ему сообщили, что ждут приказов от дивизии. Солдаты должны быть наготове, и ротные командиры обязаны бдительно следить за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он еще раз повторил все, о чем говорил вчера. Опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничто не должно сломить боевой дух армии и отвагу.

На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках, но флажки были опрокинуты и фронты передвинулись. Вытащенные булавки с флажками валялись под столом.

Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.

Полковник Шредер был очень близорук.

Офицеры маршевого батальона с интересом следили за тем, как палец полковника Шредера приближался к этим кучкам.

— Путь на Буг, господа, лежит через Сокаль, — изрек полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот ста-

рался сделать рельефной карту театра военных действий.

— Was ist das, meine Herren? ¹— с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу.

— Wahrscheinlich, Katzendreck, Herr Oberst ²,— очень вежливо сказал за всех капитан Сагнер.

Полковник Шредер ринулся в соседнюю канцелярию, откуда слышались громовые проклятия и ужасные угрозы, что он заставит всю канцелярию вылизать языком оставленные котом следы.

Допрос был краток. Выяснилось, что кота две недели тому назад притащил в канцелярию младший писарь Цвибельфиш. По выяснении дела Цвибельфиш собрал свои манатки, а старший писарь отвел его на гауптвахту и посадил впредь до дальнейших распоряжений господина полковника.

Этим, собственно, совещание и закончилось.

Вернувшись к офицерам, весь красный от злости, полковник Шредер забыл, что следовало еще потолковать о судьбе вольноопределяющегося Марека и лжезводного Тевелеса.

— Прошу господ офицеров быть готовыми и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций,— коротко сказал он.

Так и остались под стражей на гауптвахте вольноопределяющийся и Тевелес, и когда позднее к ним присоединился Цвибельфиш, они могли составить «марьяж», а после марьяжа стали приставать к своим караульным с требованием, чтобы те выловили всех блох из тюфяков.

Потом к ним сунули ефрейтора Пероутку из тринадцатой маршевой роты. Вчера, когда распространился по лагерю слух, что отправляются на позиции, Пероутка исчез и утром был найден патрулем в Бруке у «Белой розы». Он оправдывался тем, что хотел перед отъездом посмотреть знаменитый стекольный завод графа Гарраха у Брука, а на обратном пути заблудился и только утром, совершенно изможденный, добрал до

¹ Это что такое, господа? (нем.)

² По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник (нем.).

«Белой розы» (в действительности же он спал с Розочкой из «Белой розы»).

*

Ситуация по-прежнему осталась неясной. Поедут они или не поедут? Швейк по телефону в канцелярии одиннадцатой маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения: пессимистические и оптимистические. Двенадцатая маршевая рота телефонировала, будто кто-то из канцелярии слышал, что предварительно будут производиться упражнения в стрельбе по движущейся мишени и что поедут потом. Этому оптимистического взгляда не разделяла тринадцатая маршевая рота, которая телефонировала, что из города вернулся капрал Гавлик, слышавший от одного железнодорожного служащего, будто на станцию уже поданы вагоны.

Ванек вырвал у Швейка трубку и в ярости закричал, что железнодорожники ни хрена не знают и что он сам только что пришел из полковой канцелярии.

Швейк с истинным удовольствием дежурил у телефона и на вопросы: «Что нового?» — отвечал, что ничего определенного пока не известно.

Так он ответил и на вопрос поручика Лукаша.

— Что у вас нового?

— Ничего определенного пока не известно, господин обер-лейтенант, — стереотипно ответил Швейк.

— Осел! Повесьте трубку.

Потом пришло несколько телефонограмм, которые Швейк после всяческих недоразумений наконец принял.

В первую очередь ту, которую ему не могли продиктовать ночью из-за того, что он уснул, не повесив трубку. Телефонограмма эта касалась списка тех, кому была сделана и кому не была сделана противотифозная прививка.

Потом Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах. Вопрос этот был уже выяснен вчера.

Затем поступила телефонограмма всем батальонам, ротам и подразделениям полка.

«Копия телефонограммы бригады № 756992. Приказ по бригаде № 172.

При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться

нижеследующего порядка: 1 — мясо, 2 — консервы, 3 — овощи свежие, 4 — овощи сушеные, 5 — рис, 6 — макароны, 7 — крупа, 8 — картофель, — вместо прежнего порядка: 4 — сушеные овощи, 5 — свежие овощи».

Когда Швейк прочел все это старшему писарю, Ванек торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник.

— Какой-нибудь болван из штаба армии придумал, а потом это идет по всем дивизиям, бригадам, полкам.

Затем Швейк принял еще одну телефонограмму: ее продиктовали так быстро, что он успел лишь записать в блокноте что-то вроде шифра:

«In der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholet werden»¹.

— Все это лишнее, — сказал Ванек после того, как Швейк страшно удивился тому, что он написал, и трижды вслух прочел все. — Одна ерунда, хотя — черт их знает! — может быть, это шифрованная телефонограмма. У нас нет в роте шифровального отделения. Это также можно выбросить.

— Я тоже так полагаю, — сказал Швейк, — если я объявлю господину обер-лейтенанту, что *in der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholet werden*, он еще обидится, пожалуй.

— Попадаются, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас! — продолжал Швейк, вновь погружаясь в воспоминания. — Ехал я однажды на трамвае с Высочан в Прагу, а в Либни подсел к нам некто пан Новотный. Как только я его узнал, я пошел к нему на площадку и завел разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражова, а он на меня разорался, чтобы я к нему не приставал, что он якобы меня не знает. Я стал ему все объяснять, чтобы он припомнил, как я, еще маленьким мальчиком, ходил к нему с матерью, которую звали Антония, а отца звали Прокоп, и был он стражником в имении. Но он и после этого не хотел признаться, что

¹ Вследствие точнее разрешается или же самостоятельно напротив во всех случаях подлежит возмещению (нем.).

мы знакомы. Так я ему привел в доказательство еще более подробные сведения: рассказал, что в Дражове было двое Новотных — Тонда и Иосиф, и он как раз тот Иосиф, и мне из Дражова о нем писали, что он застрелил свою жену за то, что она бранила его за пьянство. Тут он как замахнется на меня, а я увернулся, и он разбил большое стекло на передней площадке перед вагоновожатым. Ну, высадили нас и отвели, а в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что звали его вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Дубрава, и был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников.

Телефонный звонок прервал рассказ Швейка, и чей-то хриплый голос из пулеметной команды опять спросил, поедут ли? Об этом будто бы с утра идет совещание у господина полковника.

В дверях показался бледный, как полотно, кадет Биглер, самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде вольноопределяющихся он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтобы тот вышел в коридор. Там они имели продолжительный разговор.

Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся.

— Вот осел! — воскликнул он, обращаясь к Швейку. — Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте! Он тоже был на совещании. Напоследок при расставании господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать Жлабека за то, что тот вычистил винтовку керосином. — Ванек разгорячился. — О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции! Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он поостерегся ожесточать солдат.

— Раз уж вы заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта?

— Будьте благоразумнее, — ответил Ванек, — времени хватит. Между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант привыкнет к Балоуну, Балоун разок-другой еще что-нибудь у него слопает, а потом это пройдет,

когда попадем на фронт. Там скорее всего ни тому, ни другому жрать будет нечего. Когда я ему скажу, что Балоун остался, он ничего не сможет поделывать. Это моя забота, господина обер-лейтенанта это не касается. Главное: не торопиться!— Ванек опять лег на свою койку и попросил:— Швейк, расскажите мне какой-нибудь анекдот из военной жизни.

— Можно,— ответил Швейк,— только я боюсь, что опять кто-нибудь позвонит.

— Так выключите телефон: отвинтите провод или снимите трубку.

— Ладно,— сказал Швейк, снимая трубку.— Я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были маневры, а паника началась точь-в-точь такая же, как сегодня: мы тоже не знали, когда выступим из казарм. Служил со мной Шиц с Поржича, хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что маневры — это что-то ужасное и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас, а когда мы выступили из казарм на маневры и пришли к Мнишеку, то сказал: «Я этого не выдержу, ребята, только господь бог меня может спасти!» Потом мы пришли к Горжовицам и там на два дня сделали привал, потому как из-за какой-то ошибки мы так быстро шли вперед, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамились бы, потому что нашему корпусу полагалось про.ать, а противнику выиграть: у них там находился какой-то эрцгерццогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку. Когда мы разбили лагерь, он собрался и пошел в деревню за Горжовицами кое-что себе купить и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было, к тому же выпил он тоже здорово, и тут увидел он при дороге столб, на столбе был ящик, а в нем под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит: «Вот, чай, жарко тебе, не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом ты солнцепеке. Чай, все время потеешь?» Взболтал походную фляжку, выпил и говорит: «Оставил я и тебе глоток, святой Ян из Непомук». Потом спохватился, вылакал все, и святому

Яну из Непомук ничего не осталось. «Иисус Мария!— воскликнул он.— Святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить, я тебя за это вознагражу. Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь». И добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статушку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий вместе с ним спал на соломе. Шиц носил его с собой во время походов в ранце, и всегда ему страшно везло в карты. Где ни сделаем привал, он всегда выигрывал, пока не пришли мы в Прахенско. Квартировали мы в Драгеницах, и он вконец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на груше у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам и анекдот, ну, а теперь повешу трубку.

И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена.

В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать, и одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границе Галиции (первый этап).

7217—1238—475—2121—35=Мошон.

8922—375—7282=Раб.

4432—1238—7217—375—8922—35=Комарно.

7282 — 9299 — 310 — 375 — 7881 — 298 — 475 — 7979 = Будапешт.

Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул:

— Der Teufel soll das buserieren¹.

¹ Грубое немецкое ругательство.

ПРИМЕЧАНИЯ

В Советском Союзе произведения Ярослава Гашека издавались неоднократно. Однако все прежние издания давно уже разошлись, а некоторые из них стали библиографической редкостью. Настоящее пятитомное собрание избранных сочинений Гашека — наиболее полное из всех существующих в нашей стране. Оно включает лучшие произведения писателя, хотя и не исчерпывает всего богатства его творческого наследия. Наряду с ранее переводившимися произведениями в пятитомник входят рассказы, еще не печатавшиеся у нас.

При отборе произведений составители руководствовались полным собранием сочинений Гашека, которое издается сейчас в Чехословакии крупнейшими специалистами по творчеству Ярослава Гашека — Эдепой Анчином, Радко Пытликом, Миланом Янковичем и др.

Переводы всех произведений заново сверены с оригиналом.

Принцип расположения материала хронологический. Отступление от этого правила допущено лишь в двух первых томах. Они включают роман «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», а также ранее написанные Гашеком произведения, в которых фигурирует образ Швейка.

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЧАСТИ I—II

Стр. 9. *Драгист* — владелец аптекарского магазина.

Эрцгерцог Фердинанд (1863—1914) — Франц-Фердинанд фон Эсте, племянник австро-венгерского императора Франца-Иосифа I; был убит вместе со своей женой в Сараеве 28 июня 1914 года; *Конопшиште* — замок эрцгерцога Франца-Фердинанда в Чехии.

Стр. 10. *Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину...*— В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину.

Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету...— Луиджи Люккени 10 сентября 1898 года убил австрийскую императрицу Елизавету, жену Франца-Иосифа I.

...начали с его дяди.— Швейк ошибается: Франц-Фердинанд был племянником, а не дядей Франца-Иосифа I.

Стр. 11. *...увезли в корзине очухаться...*— Во времена Австрийской монархии пьяных увозили в ручной тележке-корзине.

...помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля?— 1 февраля 1908 года в Лиссабоне был убит португальский король Карл, отличавшийся чрезвычайной тучностью.

Стр. 12. *...что...написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как отвела англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.*— В романе «Отверженные» В. Гюго рассказывает о том, как офицер наполеоновской гвардии Камброн на предложение англичан сдать его ответил: «Merde! (Дерьмо!) Гвардия умирает, но не сдается!»

Панкрац — тюрьма для политических заключенных в Праге.

Стр. 13. *...лежал связанный «козлом».*— Это наказание в австро-венгерской армии состояло в следующем: провинившемуся солдату привязывали руки к ногам и в таком положении оставляли лежать в течение дня и более.

Стр. 14. *Младочех* — член чешской буржуазной партии «младочехов».

Стр. 16. *...сына Рудольфа он потерял во цвете лет...*— Единственный сын Франца-Иосифа — Рудольф — умер при неизвестных обстоятельствах в 1889 году.

...потом не стало его брата Яна Орта...— Эрцгерцог Ян в 1889 году отрекся от своего титула и принял фамилию Орт. В 1890 году пропал без вести.

...брата — мексиканского императора — в какой-то крепости поставили к стенке.— Эрцгерцог Максимилиан Габсбург, император Мексики с 1863 по 1867 год, был посажен на престол французскими интервентами. Впоследствии взят в плен мексиканскими республиканцами и расстрелян в крепости Кверетаро.

Стр. 17. *...показал ему орла...*— На значке агентов тайной полиции в Австро-Венгрии был изображен герб с двуглавым австрийским орлом.

Стр. 20. *«Гей, славяне».*— Песня «Гей, славяне, еще наша славянская речь живет» была сложена в Праге в 1834 году словаком Само Томашиком. В печати она появилась в 1838 году в Словакии и пелась на мотив польской мазурки. Получила широкое распространение у славян и считалась гимном славянских народов.

Стр. 24. Ломброзо, Чезаре (1835—1909) — итальянский профессор психиатрии, изучавший типы преступников. Книги с названием «Типы преступников» среди его трудов нет.

Стр. 25. «...Национальная политика», «сучка». — Чешская буржуазная газета «Национальная политика» получила в народе ироническое прозвище «сучка».

Ян Непомуцкий — чешский католический святой.

...пока его... не сбросили с Элишкина моста... — Швейк ошибается: Элишкин мост был построен в 1865—1867 годах, а Ян Непомуцкий, по преданию, жил в XIV веке.

Стр. 27. Зеленый Антон — так назывался полицейский фургон, в котором перевозили арестованных.

Стр. 28. «Тессиг» — пражский ресторан.

Стр. 30. Геворох (1869—1928) — известный чешский профессор психиатрии.

Стр. 31. Ботич — ручей в Праге.

«Банзет» — пражский ресторан.

Стр. 32. Имена Каллерсона и Вейкинга в медицинской литературе не встречаются. Вероятно, Гашек придумал их.

Стр. 33. ...под Вышеградской скалой... — самое глубокое место на Влтаве.

Стр. 35. Святой Вацлав (907—929) — чешский князь; за то, что ввел христианство, был причислен к лику святых; считался патроном Чехии.

Стр. 36. Крконоше — горы в северо-восточной Чехии.

Стр. 38. «Где родина моя» — чешская патриотическая песня, написанная Й. К. Тылом. Музыка Фр. Шкroupa. Впервые была исполнена в Праге в 1834 году при постановке пьесы Тыла «Фидловачка». Получила общенародное признание и была распространена в самых широких массах чешского народа. После первой мировой войны эта песня стала государственным чешским гимном.

Генерал Виндишгреу — командующий австрийскими войсками, жестоко подавивший в 1848 году революцию в Праге и в Вене.

«Храни нам, боже, государя» — государственный гимн старой Австрии.

«Шли мы прямо в Яромерь» — чешская солдатская песня.

Стр. 41. «Ну вас к черту, петухи!» — Полицейские в Чехии во времена Австро-Венгерской монархии носили каску с петушиными перьями.

Стр. 44. «Бендловка» — ночное кафе в Праге.

Стр. 48. ...один из этих черно-желтых хищников... — Государственными цветами Австрии были черный и желтый.

Стр. 50. Градчаны — один из районов Праги, где расположен пражский Град — кремль.

Стр. 51. «Свободная мысль» — общество вольнодумцев, вышедших из церкви, основанное около 1900 года.

Стр. 52. ...прострелил там корону.— Игра слов: чешское слово «коруна» означает монету — «крона» — и императорскую корону.

Стр. 57. Черно-желтый орел — герб Австро-Венгерской монархии.

Стр. 58. Калоус — известный австрийский сыщик в годы первой мировой войны.

Стр. 60. Пьемонт — край в горной Италии; здесь этим словом обозначается итальянское войско, сражавшееся в 1859 году против Австрии.

...бой у Сольферино.— В битве у Сольферино в 1859 году Австрия потерпела поражение.

Стр. 63. «Прагер Тагеблатт» — буржуазная газета, выходившая в Праге на немецком языке.

«Богемия» — газета немецкой националистической буржуазии, выходившая в Праге.

Стр. 64. Фельдмаршал Радецкий (1766—1858) — австрийский полководец, чех по происхождению.

Стр. 72. Пештяны — курорт в Словакии.

Стр. 75. Бабинский, Вацлав (1796—1879) — знаменитый разбойник, о котором в Чехии существует много легенд.

Стр. 81. Принц Евгений Савойский (1663—1736) — австрийский полководец, воевавший против Турции, Франции, Баварии и Голландии.

Стр. 83. Клима, Славичек — агенты австрийской, а потом чехословацкой полиции.

Стр. 86. Фельдкурат — полковой священник в австрийской армии, имевший чин и права офицера.

Шпангле — кандалы. Правая рука арестанта приковывалась на короткую цепь к левой ноге.

Махар Й. С. (1864—1942) — известный чешский поэт. В одной из своих статей выступил в защиту оломоуцкого архиепископа Кона.

Стр. 92. Франциск Салеский (Франсуа Сальский; 1567—1662) — женеvский епископ.

Стр. 98. Винограды и Либень — районы в противоположных концах Праги.

Стр. 105. Национальный социалист — член чешской мелкобуржуазной национальной партии.

Стр. 106. Сокол — член известной чешской спортивной организации «Сокол».

«Репрезентяк» — так в пражских демократических кругах называли фешенебельный ресторан «Репрезентативный дом».

Стр. 108. «Шляпак» — чешский народный танец.

Стр. 113. «Шуги» — ресторан в Праге.

Стр. 114. Пани, дайте мне первый класс.— Фельдкурат думает, что он говорит с уборщицей в общественной платной уборной.

Стр. 117. *Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo.*— «Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья» (лат.). Цитата из «Метаморфоз» Овидия Назона, кн. I.

...требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.— Фельдкурат хочет уподобиться чешскому католическому святому Яну Непомуцкому, голову которого после казни зашили в мешок и бросили во Влтаву.

Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы.— Фельдкурат имеет в виду нимб из звездочек на статуях католических святых.

Стр. 118. *Горгонзола* — итальянский сыр.

Стр. 121. *Вршовице* и *Градчаны* — районы, расположенные в противоположных концах Праги.

Стр. 132. *Фарар* — приходский священник в Чехии и Словакии.

Стр. 142. *Антипод* (греч.) — Настоятель путает антиподов, жителей противоположных пунктов земли (Австралия и Чехия), с антиподами — людьми противоположных религиозных убеждений.

Стр. 147. *Божена Немцова* (1820—1862) — выдающаяся чешская писательница. Ей принадлежит несколько сборников народных чешских и словацких сказок.

Стр. 188. *Гали-бей*, *Али-бей Энвер-паша*, *Джевад-паша* — турецкие политики и генералы, игравшие видную роль во время мировой войны 1914—1918 годов. *Лиман фон Зандерс* (вице-адмирал), *Уседон-паша* и *Гольц-паша* (германские генералы) служили во время первой мировой войны в турецкой армии.

Стр. 190. *Комбр-а-Вевр у Марша* — город в центре Бельгии.

Стр. 204. *Манлихеровка* — особый вид винтовки, названной по имени изобретателя Манлихера.

Стр. 206. «*Образ Марии*» — название старинной гостиницы в Праге.

...как нищий у церкви святого Гаштала.— Имеется в виду эпизод, когда полиция арестовала нищего, который постоянно собирал милостыню у входа в костел св. Гаштала. Он отгоял от костела других нищих, так как последние, по его мнению, собирали милостыню не в своем районе.

Стр. 210. *Наход* — город на севере Чехии.

Стр. 213. «*Марширует Грсневиль*»... — чешская солдатская песня, марш гренадеров; *Прашна брана* — старинная пороховая башня в центре Праги.

Стр. 215. *Неказанка* — переулок в центре Праги, где находилось несколько ночных увеселительных заведений.

Стр. 216. *Доктор Гут* — Иржи Станислав Гут-Ярковский, преподаватель средней школы, автор книг о светских манерах. В 1919 году был приглашен президентом Т. Г. Масариком в качестве церемониймейстера во дворец.

Стр. 217. *Лаудова-Горжицова* (1868—1931) — известная чешская артистка, писавшая в газете чешской аграрной партии «Венков» о светских манерах.

Ольга Фастрова, — печатала в буржуазной газете «Национальная политика» статьи о светском воспитании.

Стр. 222. «*Нейе Фрейе Прессе*» — венская националистическая газета.

...*лжу на нарах*... — то есть в полицейском участке.

Стр. 241—242. *Анабасис* (греч.) — поход в глубь страны. Так названы две древнегреческие книги: 1) греческого полководца и писателя Ксенофонта о походе Кира Младшего и 2) Арриана — о походе Александра Македонского. Во второй главе второй части Гашек пародирует поход чехословацких легионеров через Сибирь на родину. Поход их был назван чехословацкими националистами «сибирским анабасисом».

Стр. 244. ...*за Флорианом*... — то есть за статуей святого Флориана; считалось, что святой Флориан защищает от пожаров. Во многих чешских селах стояли его статуи, которые изображали этого святого заливающим пожар водой.

Стр. 248. ...*когда государь не короновался*... — При вступлении на престол императоры Австро-Венгерской монархии одновременно короновались и как короли Чехии, что символизировало некоторую самостоятельность этой страны. Франц-Иосиф I также торжественно обещал короноваться чешским королем, но обещания не исполнил.

Стр. 249. *Липнице*. — В этом небольшом городе на юго-востоке Чехии провел последние годы жизни Ярослав Гашек, здесь он во время своей болезни диктовал роман «Похождения бравого солдата Швейка». В Липнице Гашек и похоронен.

Стр. 259. «*Старик Прогулкин*». — Чехи дали императору Францу-Иосифу прозвище «*Procházka*» (Проходка), что в переводе на русский язык значит «прогулка».

Стр. 265. *Контушовка* — польская крепкая сладкая водка.

Стр. 267. *Николай Николаевич* — великий князь, бывший в начале первой империалистической войны верховным главнокомандующим русских войск.

Стр. 268. *Шенбрун* — дворец в Вене, резиденция австрийских императоров.

Стр. 269. *Мария Скоцицкая* — икона богородицы, почитавшаяся чешскими католиками.

Стр. 272. *Палацкий*, Франтишек (1798—1876) — крупнейший чешский историк XIX века; в Праге ему поставлен памятник.

Стр. 276. «*Черт*» — очень крепкая настойка.

Стр. 284. *Профос* — тюремный надзиратель.

Стр. 287. «*Мещанская беседа*» — старинный чешский ресторан.

Стр. 289. *Signum Laudis* — знак похвалы (лат.), низшая степень отличия, присуждавшаяся офицерам австрийской армии,

Стр. 290. *...святая Агнесса...*— Св. Агнесса считалась покровительницей бедняков.

Стр. 291. Вольноопределяющийся приписывает слова Онегина самому Пушкину, считая, что поэт писал о своем дяде.

Кочий — чешский издатель времен первой мировой войны.

Стр. 295. *Наш верховный главнокомандующий.*— Верховным главнокомандующим австро-венгерской армии считался император Франц-Иосиф I.

Стр. 296. *...как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности...*— В австрийском парламенте была довольно сильная чешская оппозиция, и шовинистические выпады против чехов могли привести к тому, что она голосовала бы против этого законопроекта.

Стр. 301. *«Чешская беседа»* — чешское патриотическое общество, основанное в XIX веке.

Рудольфинум — дом, построенный в Праге в 1880 году в честь принца Рудольфа. Во время первой мировой войны здесь устраивались лекции, выставки и концерты. В годы первой республики в этом доме помещался парламент. С 1945 года здесь находится «Дом деятелей искусств».

Стр. 305. *...дни у Шабца.*— В 1914 году австрийские войска три раза доходили до сербского города Шабца, лежащего на реке Сава. Однако каждый раз их не только отгоняли от города, но и изгоняли из Сербии.

Стр. 310. *Мост-на-Литаве* — город в Чехии. В 1914 году граница между Австрией и Венгрией проходила по реке Литаве, или Лейте; венгерская часть города носила венгерское название — Кираль-Хида. Немецкая часть города: Брук-на-Лейте.

Стр. 311. *Штваница* — остров на реке Влтаве в Праге; был местом ярмарочных увеселений.

«Лада» — журнал мелкобуржуазного толка.

«Катержинки» — известная в Праге психиатрическая больница.

Стр. 322. *Журнал «Мир животных»* — выходил сначала в Колине, затем в Праге; издавали его Ладислав Гаек и Фукс. Некоторое время редактором этого журнала был Гашек. То, что рассказывает здесь вольноопределяющийся Марек, близко к фактам из жизни Гашека.

Стр. 325. *«Время»* — газета «народной» партии, или партии «реалистов».

«Чех» — реакционная газета правого крыла чешской католической партии.

Стр. 326. *...птичку, сидящую на ореховом дереве.*— В журнале «Мир животных» была помещена статья Гашека, описывающая птичку под названием «желудничка» — дословный перевод с немецкого «Eichelhäher». Кадлак был прав в том, что птичка «Eichelhäher»

по-чешски именуется не «ореховка» и не «желудничка», а «сойка».

Стр. 332. «Маленький читатель» — чешский журнал для школьников.

Стр. 333. Штурса, Ян (1880—1925) — один из крупнейших чешских скульпторов XX века.

Стр. 338—339. ...его казнили за... прагматическую санкцию.— Император Карл VI, не имея потомков мужского пола, издал в 1713 году грамоту, согласно которой земли Габсбургов — если не будет потомков мужского пола — могла наследовать дочь императора. После смерти Карла VI (1740), согласно этой прагматической санкции, императрицей стала его дочь Мария-Терезия. Враги прагматической санкции — Карл-Альберт Баварский, Филипп V, король испанский, и прусский король Фридрих — много лет вели войну с Марией-Терезией. В данном случае австрийские судьи смешали прагматическую санкцию Карла VI с прагматизмом философским: именно философского прагматизма, судя по фразе «пусть было, как было...», придерживался угольщик Франтишек Шквор.

Стр. 341. Исав — сын Исаака, продавший свое первородство за чечевичную похлебку Якову. Исав, по библии, был рыжий и мохнатый, словно покрытый власяницей.

«Курьер» — пражский иллюстрированный журнал реакционного направления, где помещались картинки о драках, убийствах и т. п. с соответствующими объяснениями.

Стр. 349. Графика — лавочка, в которой продаются почтовые и гербовые марки, папиросы и табак. В Австро-Венгрии существовала государственная монополия на табак и пр. Разрешение торговать в таких лавочках давалось инвалидам, солдаткам, вдовам и т. д.

Дружечки — девочки, участвующие в торжественных процессах, в торжественных встречах и т. п.

Стр. 352. Цислейтания — территория по эту (цис — лат.) сторону реки Литавы, или Лейты, т. е. Австрия. Транслейтания — территория по ту (транс — лат.) сторону реки Литавы, т. е. Венгрия.

Стр. 363. Еврейские Печи — пустырь на окраине Праги.

Стр. 369. Врхлицкий, Ярослав (1853—1912) — крупнейший чешский поэт.

Стр. 372. «Пестер-Ллойд» — буржуазная газета, выходившая в Будапеште.

Стр. 373. ...землю короны святого Стефана... — Имеется в виду Венгрия.

Стр. 374. «Пешти-Хирлап» — газета венгерской националистической буржуазии, выходившая в Будапеште.

«Шопрони-Напло» — венгерская буржуазная газета, выходившая в городе Шопронь.

- «*Попугайский полк*» — кличка Девяносто первого полка, полученная из-за зеленых петлиц на мундирах этого полка.
- Стр. 375. *Прессбург* — немецкое название Братиславы.
- Стр. 377. *Дейчмейстеры* — солдаты и офицеры привилегированного Четвертого пехотного полка.
- Стр. 381. *Богнице* — район Праги, где находится больница для душевнобольных.
- Стр. 382. *Мы знаем своих паппенгеймцев!* — крылатая фраза. Взята из трилогии «Валленштейн» Ф. Шиллера. Точное ее звучание «*Daran erkenn ich meine Pappenheimer*» (Тут узнаю своих паппенгеймцев). В данном случае употреблена в смысле «Знаем мы вас!».
- Стр. 385. *Павла Моудрая* (1861—1936) — чешская писательница.
- «*Чужак*». — Так называли тех сербов, которые оказывали сопротивление оккупантам.
- Стр. 386. *Картоузы* — большая тюрьма неподалеку от чешского города Ичино.
- «*У Флеков*» — старинная, очень популярная пивная в Праге.
- Стр. 392. *Гумбольдт, Александр* (1769—1859) — известный немецкий естествоиспытатель.
- Стр. 396. *Крконош* — мифическое существо, горный дух, обитающий в Крконошских (Исполинских) горах.
- Стр. 401. *Дукла* — Дукельский перевал в Карпатах, где в первую мировую войну происходили крупные бои, во время которых весь Двадцать восьмой чешский пехотный полк сдался в плен русским.
- *Тобоган* — первоначально род саней, затем гора для катания на санях.
- Стр. 406. «*У милосердных*» — одна из крупнейших и лучших больниц в Праге, которую обслуживали католические монахи ордена «Милосердные братья».
- Стр. 412. *Кантина* — чайная при воинской части, при фабрике и т. п.
- Стр. 417. *Сутры Прагна Парамита* — священные книги древнеиндийской религии.
- *Карма* (санскр.) — буддийское учение о предопределении.
- Стр. 419. *Крамарж, Шейнер и Клофач* — чешские политические деятели буржуазных партий.
- Стр. 424. *Тлаченка* — род колбасы.

В тексте романа «Похождения бравого солдата Швейка» мы встречаем неправильное написание немецких слов и фраз. В ряде случаев Я. Гашек сознательно деформирует немецкую речь в устах чехов (например, самого Швейка), показывая этим, что чехи, не-

смотря на усиленную германизацию их австрийскими властями, плохо усваивали чужую, немецкую речь. В отдельных случаях неправильное написание немецких слов передает чешское произношение этих слов. Наконец, мы встречаем ошибки в немецком языке и немецкой орфографии, которые следует отнести к неправильному написанию этих слов и фраз самим автором или к типографским ошибкам. В своем переводе мы следовали в написании немецких фраз и слов, а также фраз и слов на других иностранных языках (мадьярском, итальянском и др.) чешскому оригиналу.

Переводы стихов в первой и второй части романа принадлежат Д. Горбову (стр. 60 — 61) и Я. Гурьяну.

П. Богатырев

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Перевод П. Богатырева

Предисловие автора	5
------------------------------	---

Часть первая

В ТЫЛУ

Глава I. Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну	9
Глава II. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении :	19
Глава III. Швейк перед судебными врачами	28
Глава IV. Швейка выгоняют из сумасшедшего дома	35
Глава V. Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице	40
Глава VI. Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома	48
Глава VII. Швейк идет на войну	59
Глава VIII. Швейк — симулянт	65
Глава IX. Швейк в гарнизонной тюрьме	82
Глава X. Швейк в денщиках у фельдкурата	103
Глава XI. Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню	127
Глава XII. Религиозный диспут	137

Глава XIII. Швейк едет соборовать	145
Глава XIV. Швейк в денщиках у поручика Лукаша . .	160
Глава XV. Катастрофа ;	203
Послесловие к первой части «В тылу» ;	216

Часть вторая

НА ФРОНТЕ

Глава I. Злоключения Швейка в поезде	221
Глава II. Будейовицкий анабасис Швейка	242
Глава III. Приключения Швейка в Кираль-Хиде . . .	310
Глава IV. Новые муки	371
Глава V. Из Моста-на-Литаве в Сокаль ;	396
Примечания ;	440

Ярослав Г а ш е к.
Собрание сочинений в 5 томах.
Том I.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 28/III 1966 г. Тираж 210.000 экз.
Изд. № 605. Зак. 3281. Форм. бум. 84×108^{1/2}
физ. печ. л. 14,13 + 5 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 24,25. Уч.-изд. л. 24,44.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица
«Правды», 24.